

Ю. М. ЛОТМАН

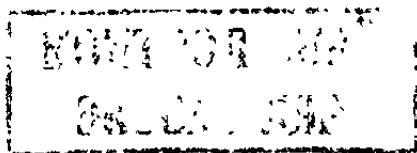
*О русской  
литературе*

*Статьи и исследования  
(1958—1993)*

*История русской прозы*



*Теория литературы*



Санкт-Петербург  
«Искусство—СПб»

22 / 25

## П. А. Вяземский и движение декабристов

Тема «Вяземский и декабристы» принадлежит к наиболее существенным при изучении связей декабристов с окружающей их общественной средой. Большой интерес представляет она и при определении взаимоотношений дворянской революционности и дворянского либерализма 1810—1820 гг. Последнее особенно важно для выяснения специфических черт преддекабристского и раннедекабристского периодов.

Интересующей нас теме в научной литературе посвящена одна, но весьма обширная и обстоятельная работа — исследование Н. Кутанова (С. Н. Дурылина) «Декабрист без декабря»<sup>1</sup>. Труд этот, построенный на основании детального изучения всех имевшихся тогда печатных материалов, совершенно не затронул, однако, рукописных фондов, особенно важных для анализа взглядов Вяземского. На это указала тогда же М. С. Боровкова-Майкова: «Вопрос, поскольку и в какой мере Вяземский являлся соучастником или сочувствующим декабристскому движению, прежде всего, зависит от содержания многих, еще не опубликованных или опубликованных частично, документов»<sup>2</sup>.

С момента опубликования статьи С. Н. Дурылина прошло более чем четверть века, накопилось большое количество новых данных о движении декабристов, а ни нового обобщающего исследования, ни частных разысканий, даже по таким кардинальным и лежащим на поверхности темам, как «Вяземский и М. Орлов», «Вяземский и Н. Тургенев», в печати не появлялось. Нет специальных исследований и о соотношении деятельности Вяземского и его крупнейших современников, непосредственно не примыкавших к декабристскому движению (Пушкин, Чаадаев, Д. Давыдов) или чуждых ему (Жуковский, Карамзин). Таким образом, хотя значительность места, занимаемого Вяземским в литературной жизни его эпохи, особенно в преддекабристский и раннедекабристский периоды, никем не оспаривается, вопрос все еще

<sup>1</sup> Кутанов Н. Декабрист без декабря // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. В той или иной мере вопрос затронут в общих исследованиях о Вяземском. См.: Гинзбург Л. Я. П. А. Вяземский // Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958; Мордовченко Н. И. Очерки по истории русской критики первой четверти XIX в. М.; Л., 1959; Гиллельсон М. И. Вяземский-критик // История русской критики. Л.; М., 1958. Т. 1. Вызывает недоумение, что М. И. Гиллельсон в начале своей основательной статьи несколько пренебрежительно отзывается о работе Н. И. Мордовченко как о содержащей «интересные замечания о некоторых статьях Вяземского» (Указ. соч. С. 228). Работа Н. И. Мордовченко содержит не «интересные замечания», а глубокий анализ всего критического наследия Вяземского. Хорошая статья Гиллельсона лишь выиграла бы от справедливого отношения к научным предшественникам.

<sup>2</sup> Боровкова-Майкова М. С. П. А. Вяземский: Письма к жене за 1830 год // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 198.

находится в начальной стадии изучения. Это заставляет и настоящую работу строить в плане рассмотрения проблемы в целом.

\*\*\*

Близость П. А. Вяземского к декабристскому движению была очевидна для его современников. Многие из них, так же как и правительство Николая I, недоумевали по поводу того, что никто из привлекавшихся к следствию декабристов не дал уличающих Вяземского показаний. П. Бартнев вспоминал, как «недоброжелатели» Вяземского в дни кончины А. С. Пушкина «не скрывали надежды найти в забранных бумагах сего последнего следы и улики участия кн. Вяземского в деле тайных обществ 14-го декабря»<sup>1</sup>.

То, что репрессии 1826 г. не затронули Вяземского, вызвало у современников чувство, близкое к изумлению. Даже в семье Карамзина это считалось почти чудом. В письме, посланном с «оказией» (передатчиком был М. Погдин), Карамзин с радостным удивлением писал о том, что «бурная туча» не коснулась Вяземского «ни краем, ни малейшим движением воздушным»<sup>2</sup>.

В том же письме показательна приписка дочери Карамзина Е. Н. Карамзиной: «Да, дорогой и добрый дядя! Из глубины души я благодарю все дни небеса за то, что они Вас сохранили *невредимым*»<sup>3</sup>.

Мнение современников было не лишено оснований: лучшая пора жизни Вяземского протекла в окружении деятелей тайных обществ. С многими из них он был связан узами долгодетней дружбы, многочисленными идейными и биографическими нитями. Так, постоянной, проходящей через всю жизнь была дружба с М. Орловым и Н. Тургеневым. С братом последнего — Сергеем, человеком, бесспорно разделявшим декабристские настроения, Вяземский «встретился нечаянно, но сошелся чаянно». Многолетней была дружба с И. И. Пуциным и его братом Михаилом<sup>4</sup>. Еще в детстве, в пансионе иезуитов, Вяземский познакомился с К. А. Охотниковым. Знакомство это было возобновлено в 1821 г. в Москве, куда М. Орлов и Охотников приехали для участия в работе съезда Союза Благоденствия. В дальнейшем Вяземский пользовался услугами Охотникова для пересылки из Москвы в Кишинев писем М. Орлову и Пушкину. Посылка писем по почте, видимо, была нежелательна<sup>5</sup>. Охотников приходился Вяземскому родственником: его мать, Наталья Григорьевна, в девичестве была Вяземская. Вяземский, сблизившийся с Охотниковым в 1821 г., видимо, догадывался об его конспиративной деятельности. По крайней мере, много лет спустя, уже в глубокой старости, он назвал его «историческим таинственным лицом»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Русский архив. 1879. № 3. С. 387.

<sup>2</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826 (Из Остафьевского архива). Изданы с примечаниями и предисловием Н. Барсукова. СПб., 1897. С. 171.

<sup>3</sup> Там же. Оригинал на французском.

<sup>4</sup> Пуцин И. И. Записки о Пушкине. Письма. Л., 1956. С. 94, 96, 184, 188 и др.

<sup>5</sup> Лнт. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 36.

<sup>6</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 972.

С Никитой Муравьевым Вяземский, видимо, познакомился еще до 1812 г. в Москве. В дальнейшем их имена все время переплетаются: общие друзья — Тургеневы, Батюшков, общий круг знакомств в Москве и Петербурге. Н. Муравьев — товарищ Вяземского по «Арзамасу».

С М. Луниным Вяземский познакомился в 1815 г., на что указывает не имеющее даты, но относящееся к этому году письмо Вяземского Батюшкову: «...я тебе написал до получения письма твоего через Лунина, которого рад любить, потому, что ты его любишь, но которого я еще не видел»<sup>1</sup>. В дальнейшем Вяземский и Лунин встречались в Варшаве. В письме от 1 ноября 1818 г. А. М. Пушкин сообщал Вяземскому: «Получил твое письмо, любезный мой князь, через Лунина». С сестрой Лунина Е. С. Уваровой, как и со всей «фамилией известных Луниных» (выражение Вяземского), Вяземский был знаком еще до московского пожара. Е. С. Лунина вместе с В. Ф. Вяземской участвовала в шумевшем московском празднике, данном в честь победы над Наполеоном. Одним из организаторов этого торжества был П. А. Вяземский. В 1856 г. Е. С. Уварова напомнила Вяземскому «старое знакомство, которое Вас восхищало в счастливейшие и, увы, уже протекшие времена»<sup>2</sup>. Вяземский был знаком с Сергеем Муравьевым-Апостолом<sup>3</sup> и Штейнгелем, с которым он в декабре 1819 г. ведет политические беседы<sup>4</sup>. Среди декабристских знакомцев Вяземского следует назвать и И. Д. Якушкина.

Длительной и сложной была история взаимоотношений Вяземского и М. А. Дмитриева-Мамонова. Поместье последнего — Дубровицы — находилось по соседству с Остафьевым; другим соседом Вяземского по имению был С. Трубецкой. В бумагах Вяземского сохранились письма П. Х. Граббе, С. Волконского, Ф. Вадковского, Ф. Глинки. Наконец, проживая после отставки в Москве, Вяземский постоянно встречался с Мухановым и членами кружка Пушина, а также с Завалишиным и Оржицким. «Мы, бывало, собирались у Оржицкого, у которого он [Вяземский] обедал иногда и где в его присутствии был прочитан привезенный мною экземпляр „Горя от ума“», — вспоминал Д. Завалишин<sup>5</sup>. В это же время Вяземский выступает как деятельный литературный сотрудник Рылеева и Бестужева и покровитель Кюхельбекера.

Перечисленные имена, конечно, не исчерпывают круга декабристских знакомств Вяземского.

В глубокой старости Вяземский затеял интересную работу — словарь своих знакомств. Рукопись эта, представляющая хаотическое перечисление припоминаемых фамилий и озаглавленная: «Алфавит имен и списки лиц, припоминаемых Вяземским П. А.», хранится в бумагах архива Вяземского

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). Ф. 19. № 28. Л. 19. (В дальнейшем — Архив ИРЛИ.)

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2908. Л. 1. Оригинал на французском.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. СПб., 1889. Т. 1. С. 60.

<sup>4</sup> Там же. С. 378.

<sup>5</sup> Завалишин Д. Воспоминания о Грибоедове // Древняя и новая Россия. 1879. № 4. С. 311—312.

(ЦГАЛИ). Это не автограф — старик Вяземский, видимо, диктовал свои заметки. Рукопись не имеет систематического характера: пропущены многие дорогие и близкие Вяземскому имена — нет даже Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Тем более интересно обилие в этом списке имен декабристов. Имена казненных руководителей движения повторены в списке пять раз! На букву «б» вписан Бестужев и тут же в скобках «Рылеев, Сергей Муравьев, Пестель, Каховский». И вписывая каждую из этих фамилий в алфавитный список, Вяземский снова и снова повторял все пять имен<sup>1</sup>.

Кроме казненных в список попали: «Ивашев, сибирск<ий>, декабрист»<sup>2</sup>, Лунин<sup>3</sup>, Сутгоф<sup>4</sup>, «Батенков, декабрист, приятель Сперанского»<sup>5</sup>, «Анненков, декабрист»<sup>6</sup>, Охотников<sup>7</sup>. Видимо, по ассоциации идей попал в список и «Лепарский, командир крепости (Чита), в которой содержались декабристы»<sup>8</sup>.

Таким образом, круг декабристских знакомств Вяземского был необычайно широк. К нему следует прибавить имена Чаадаева, Пушкина и Грибоедова, чтобы понять, насколько обширны были связи Вяземского с деятелями тайных обществ.

Однако, как бы ни были интересны те или иные биографические связи, вопрос не может быть ограничен их установлением, — необходимо сопоставить мировоззрение Вяземского и идейную позицию дворянских революционеров. Эта задача и поставлена в настоящей работе.

\*\*\*

Для правильного понимания позиции Вяземского необходимо проследить само зарождение политических интересов в его мировоззрении. Первые же шаги П. А. Вяземского на общественно-литературном поприще свидетельствовали о самостоятельности занятой им творческой позиции. Выступая с самого начала своей писательской карьеры как убежденный сторонник идейно-художественных принципов Карамзина — Жуковского, Вяземский сразу же обнаружил в своих воззрениях и определенные расхождения с господствующей доктриной этой школы.

Литературная позиция Карамзина — Жуковского была окрашена в тона субъективизма. Карамзина это приводило к скептическому неверию в возможность постижения объективной истины, следствием чего явилась и специфическая окраска всей литературной позиции писателя. Отрицая возможность познания объективной истины, Карамзин считал ложной *любую* теоретическую позицию и тем самым дискредитировал самую идею литературной критики. Вместо борьбы и убежденности — терпимость и скепсис; не осуждая

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 3 об., 10, 15, 19, 19 об.

<sup>2</sup> Там же. Л. 9.

<sup>3</sup> Там же. Л. 13.

<sup>4</sup> Там же. Л. 22 об.

<sup>5</sup> Там же. Л. 41.

<sup>6</sup> Там же. Л. 67.

<sup>7</sup> Там же. Л. 74 об.

<sup>8</sup> Там же. Л. 12 об.

плохого, хвалить хорошее — таковы были принципы Карамзина-критика. В программном вступлении к первому номеру «Вестника Европы» за 1802 г. Карамзин писал: «...точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому, строгому суду? *La critique est aisée, et l'art est difficile!*<sup>1</sup> Пиши, кто умеет писать, хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги!» И далее: «Не знаю, как другие думают, а мне не хотелось бы огорчить человека даже и за „Милорда Георга“, пять или шесть раз напечатанного. Глупая книга есть небольшое зло на свете»<sup>2</sup>.

Из подобных предпосылок закономерно вытекало отрицательное отношение к критике, как к занятию бесполезному и унижительному. Особенно же осуждалась полемика, журнальная борьба. Не считая литературные споры путем к постижению скрытой от людей истины, Карамзин видел в них лишь проявление низменных свойств природы самих критиков: зависти, честолюбия. «Мне отвратительно и думать о перебранке с издателем Вестника Европы», — писал Карамзин Вяземскому по поводу полемики последнего с Каченовским<sup>3</sup>.

Несколько иной по идеологической структуре субъективизм Жуковского приводил к сходным результатам. Стремление отвернуться от внешнего мира и погрузиться в глубину интимно-лирических переживаний заставляло поэта отрицательно относиться к политической борьбе и к журнальной критике. Став редактором «Вестника Европы», Жуковский ликвидировал отдел политики и систематически уклонялся от полемики с другими журналами, даже по литературным вопросам. Это привело к тому, что на первом этапе карамзинисты были в литературной борьбе обороняющейся стороной, передав инициативу литературной полемики шишковистам.

Однако уже к началу 1810-х гг. среди карамзинистов наметилась тенденция к активизации литературной программы: сатиры Батюшкова и В. Л. Пушкина означали переход к новой, наступательной тактике — первый шаг к пересмотру взгляда на литературную борьбу.

Но связанные с этой тенденцией первые же статьи Вяземского знаменовали новый этап в развитии карамзинизма как литературного явления: Батюшков, В. Л. Пушкин нападали на врагов карамзинизма, лишь нарушая принципы невмешательства в литературную борьбу, Вяземский же начал с критики самих карамзинистов, требуя изменения их литературной программы. Первым объектом нападок его сделались не Шишков и Шихматов-Ширинский, а Жуковский и Шаликов. В статье «Два слова постороннего»<sup>4</sup> Вяземский попытался повлиять на позицию Жуковского как редактора «Вестника Европы», втянуть его в полемику с Шаликовым. Вяземскому «хотелось видеть

<sup>1</sup> Критика легка, искусство трудно (фр.).

<sup>2</sup> Вестник Европы. 1802. № 1. С. 7—8.

<sup>3</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826 (Из Остафьевского архива). С. 75.

<sup>4</sup> Цветник. 1809. № 9; см. в наст. изд. статью «„Два слова постороннего“ — неизвестная статья П. А. Вяземского».

войну двух издателей журналов», а вместо этого, пишет он иронически, «мы увидели благодарность, сияющую во всем своем блеске».

Еще более интересна следующая статья Вяземского, посвященная разбору позиции Жуковского как составителя хрестоматийного сборника «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев», — «Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков».

Принципы отбора Жуковским произведений русской поэзии для сборника имели определенную тенденцию — на первый план была выдвинута карамзинская традиция. Почти полностью игнорировалась гражданская поэзия. Оды печатались лишь в образцах первой половины XVIII в. — этим подчеркивалась архаичность жанра. В современной же лирике выделялась «легкая поэзия». Образцы современной торжественной поэзии были подобраны из Шишкова и Боброва, видимо, не без намерения, демонстрируя беспристрастность, дискредитировать сам жанр.

Вяземский резко осудил издателя за то, что он не захотел «нам показать лучшего нашего перевода из Горация, то есть „Оды к Венере“ Востокова, а напечатал уродливый, то есть Боброва: „О ты, Бландузский ключ кипящий“». Далее он спрашивает Жуковского: «Отчего предпочли вы „Похвалу зиме“ Шишкова оде Востокова „На зиму“, или потому, что в первой стихи подобны следующим: „О, какие тут дурные есть личищи на игрищи“, а во второй подобны этим:

„От Ладоги на белых льдинах  
Течет зима к нам по реке,  
Глава сей старицы в седилах,  
Железный скиптр в ее руке“<sup>1</sup>.

Энергичная защита творчества Востокова — своеобразная черта в позиции убежденного карамзиниста. Особенно же показательна то, что Вяземский резко упрекает Жуковского за отсутствие в сборнике «прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од». Переводы Мерзлякова из Тиртея были задуманы и воспринимались современниками как образцы «спартанской», героической поэзии. Не случайно образ Тиртея сделался одним из любимейших в поэзии декабристов.

Таким образом, Вяземский еще до Отечественной войны 1812 г. занял среди карамзинистов своеобразную позицию.

Характер этой позиции позволил Вяземскому уже на следующем этапе его творческой эволюции с наибольшей полнотой выразить новые тенденции в развитии карамзинизма. Имели поэтому мировоззрение и творчество Вяземского особенно показательны при исследовании соотношения дворянской революционности и дворянского либерализма в истории русской общественной мысли первой четверти XIX в.

Сразу же после окончания войны с Наполеоном современникам стало ясно, какие глубокие изменения произошли за эти годы в умах людей. Старые литературные интересы начали казаться мелкими и незначительными.

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1878—1896. Т. 1. С. 1—2.

В новых условиях поэты и литературные деятели, группировавшиеся вокруг Жуковского (карамзинисты), должны были активизировать свою позицию. Возрастание интереса к полемике, сатирическим жанрам, литературной борьбе, формам литературной организации были разными сторонами этого нового этапа.

Свойственное Карамзину пренебрежительное отношение к полемике уступает место представлению о борьбе как норме литературной жизни. Участие в литературных боях принимает весьма широкий круг литераторов-карамзинистов: Батюшков, Блудов, Дашков, В. Л. Пушкин и др. Но и для одного из них полемика не сделалась такой органичной, живой творческой потребностью, как для Вяземского. Современниками Вяземский воспринимался как поэт-сатирик, в первую очередь, и недаром он — единственный из всех карамзинистов — сделался профессиональным критиком. Вяземский прекрасно осознавал отличие своей поэзии, в этом смысле, от взглядов Карамзина — Жуковского.

Карамзину еще в 1792 г., отказываясь от полемики с Клушиным, писал И. И. Дмитриеву, демонстративно подчеркивая аристократическое презрение к писателю-разночинцу: «Ужели ты, ты мог думать, что я приму от него перчатку и выеду на рыжке с ланцом? Признаюсь, что, несмотря на мое человеколюбие, едва ли бы я простил тебе эту мысль»<sup>1</sup>. Позиция Вяземского была иной. В 1819 г. он писал А. И. Тургеневу: «У каждого свой образ мыслей: я считаю, что связаться с повесою на улице непристойно, но ударить раз дубиною дурака, который кинул в тебя грязью, и после отойти прочь не только можно, но и должно. Не будь Христос Богом, он был бы забитым плюгавцем: нам, грешникам, нельзя садиться в чужие сани, то есть на чужие кресты. Я в смирении своем не добиваюсь славы распятия»<sup>2</sup>.

Это убеждение проходит лейтмотивом через все творчество Вяземского 1820-х гг. В 1823 г. он писал: «Я скажу, как Бомарше: „Ma vie est un combat“<sup>3</sup>. Драки все довольно подлые, признаюсь, но что же делать?

Раскройте новый круг, бойцов созвите новых,  
Я и на них пойду!»<sup>4</sup>

Еще более подробно свое отношение к «журнальным дракам» Вяземский изложил в письме к Дашкову от 30 мая 1823 г.: «Бог знает, что лучше: отмалчиваться или отбраниваться? Конечно, полемика наша — самое поганое ремесло, ибо вводит в сношения с людьми, не стоящими уважения; но общее мнение или, по крайней мере, то, что заменяет у нас общее мнение, стоит уважения. Хорошо Карамзину пренебрегать тем, что мыслит о нем Каченовский и, вследствие его мыслей, что мыслит о нем часть публики нашей, но не каждому дано право брать пример с великих подлинников. *Du sublime au*

<sup>1</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 28.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 221—222.

<sup>3</sup> «Моя жизнь — борьба» (фр.).

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 333.



ridicule il n'y a qu'un pas<sup>1</sup>, от великодушного презрения к ничтожным оскорблениям до малодушного претерпения христианских пощечин тоже один шаг. Поди после разбери, по какую сторону стал ты едва означенной черты. Беда только в том, что я один, если не из хороших, то, по крайней мере, из честных полемиков и потому всегда или сам должен наскочить на какого-нибудь плюгавца или какому-нибудь плюгавцу дать наскочить на себя. И в том и в другом случае накладно, если не бокам, то имени, которое должно склещиться с именами позорными и быть вывешено на театр наших журналов»<sup>2</sup>.

Интерес к полемике вытекал из известной демократизации литературной позиции<sup>3</sup> и связан был с изменением целого ряда эстетических принципов.

Прежде всего, он подразумевал определенный отход от субъективизма и скептицизма: вступать в спор, противопоставляя программе противника только неверие в постигаемость истины, было невозможно. Предпосылкой для участия в литературной борьбе могло быть лишь зарождение каких-то позитивных, представляющихся безусловными воззрений. И напротив: тенденция к полемике сама по себе стимулировала зарождение новых взглядов на искусство. Она привела и к трансформации художественного метода, стиля, ведущих жанров.

Другой ряд последствий был связан с организационно-тактическими вопросами.

Позиция карамзиниста, в том виде, в каком она была сформулирована старшими деятелями этого направления, по сути дела, исключала возможность создания творческого объединения. Замкнутый в кругу своих неповторимосубъективных представлений, писатель не только единомышленника, но и друга может иметь лишь в той мере, в какой этот последний сходствует с его индивидуальностью. В. Л. Пушкин писал:

Я истинно счастлив, имея друга в брате!  
Сердцами сходствуем, он точно я другой.

Не случайно Карамзин, бывший долгие годы издателем журналов, так и не создал литературной группировки, связанной организационно и тактически, да, видимо, к этому и не стремился.

Жуковский, входя в литературные общества, никогда не был их инициатором — его творчество по самой своей природе не могло быть голосом группы, литературной партии.

Между тем Вяземский, который, по меткому выражению Пушкина, был *sectaire*<sup>4</sup>, один из первых в литературном кругу карамзинистов осознал не-

<sup>1</sup> От великого до смешного — один шаг (*фр.*).

<sup>2</sup> ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского. Ф. 167. № 24. Л. 7.

<sup>3</sup> Это подчеркивал позже Пушкин: «У нас вошло в обыкновение между писателями, заслужившими доверенность и уважение публики, не возражать на критики. Редко кто-нибудь из них подает голос и то не за себя. Обыкновение вредное для литературы <...> Возразят, что иногда нападающее лицо само по себе так презрительно, что честному человеку никак нельзя войти в сношение с ним, не марая себя. В таком случае объяснитесь, извинитесь перед публикою» (*Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 132*).

<sup>4</sup> *Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 96. Сектант (фр.)*.

обходимость организационного объединения как насущную потребность времени.

Уже в 1813 г. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу отстаивал идею объединения: «...Отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда все в одной конюшне и, если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу, и рука в руку?»<sup>1</sup>

Как мы увидим в дальнейшем, «Арзамас» не полностью удовлетворил ожидания Вяземского. Он и в 1816 г. продолжал мечтать о создании литературного объединения. В сентябре этого года он писал: «Мысль о авторолюбивом обществе — мысль святая у нас»<sup>2</sup>.

Когда возник «Арзамас», в ряду других арзамасцев Вяземский занял своеобразное место. Чисто литературная полемика с самого начала казалась ему зайятием недостаточно серьезным. В этом смысле показательным отношением его к одной из первых вех на пути создания «Арзамаса» — к на шумевшей речи Дашкова в петербургском Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств<sup>3</sup>. Письмо Батюшкова Вяземскому, излагавшее этот эпизод, давно уже известно, однако отклик на него, чрезвычайно показательный для характеристики отношения Вяземского к будущей тактике «Арзамаса», до сих пор еще не вводился в научный оборот. Отношение Вяземского к выступлению Дашкова было резко отрицательным. Он писал:

«Что слышу я? Et toi aussi Brutus?»<sup>4</sup> И ты вдался в петербургскую глупость? И ты на коленях перед Дашковым, речь его на Хвостова тебя восхищает. А эта речь — дерзость и глупость. Остроты в ней нет, подлости много. Что за мудрость обругать старика, который, хотя и дурно пишет, но ни мало не заслуживает никакого внимания. Пусть его пишет <...> После того вы уж пойдете по улицам показывать голые ж... Что за пажеские шутки такие. Батюшков! Батюшков! Что с тобою стало? Василью Пушкину прощай хвалить такие дурачества и пристращаться к людям, сам не зная для чего, но тебе это стыдно»<sup>5</sup>.

Приведенное письмо совсем не означает отказа от полемики из боязни «огорчить» человека (в духе старших карамзинистов). Несколько ниже в нем же он сообщает о посылке новых эпиграмм в журналы. И тут же призывает к решительной борьбе с П. И. Голенищевым-Кутузовым: «Эту бестию надобно всячески мучить <...> Такого человека жалеть не надобно; эпиграммами, дубиной, происками — вреди ему как можешь и как умеешь»<sup>6</sup>. В чем же разница, по мнению Вяземского, между гр. Хвостовым и Голенищевым-

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 19.

<sup>2</sup> Там же. С. 53.

<sup>3</sup> См.: Тихонравов Н. С. Д. В. Дашков и гр. Д. И. Хвостов // Русская старина. 1884. Кн. 8.

<sup>4</sup> И ты, Брут? (фр.).

<sup>5</sup> Архив ИРЛИ. Ф. 19. № 28. Л. 10.

<sup>6</sup> Там же. Л. 10 об. — 11.

Кутузовым? Ответ на этот вопрос дает сам Вяземский. Вина Хвостова в том, что он «дурно пишет», между тем Голенищев-Кутузов для Вяземского — ретроград, противник просвещения, враг наук. «Малейший в нем порок есть то, что он дурной стихотворец»<sup>1</sup>.

На основании приведенных цитат, однако, преждевременно было бы заключить, что Вяземский противопоставляет чисто литературную полемику политическим спорам, как более глубоким и содержательным. Такая мысль была свойственна в 1817 г. Н. Тургеневу, писавшему: «Другие члены наши (то есть «Арзамаса». — Ю. Л.) лучше нас пишут, но не лучше думают, то есть думают более всего о литературе»<sup>2</sup>. Как увидим, в дальнейшем подобный взгляд был усвоен и Вяземским, но ни в 1812-м, ни в первые годы после войны политическое мышление его еще не достигло такой остроты.

В эти годы Вяземский еще не осуждает своих сотоварищей по творческим интересам за чисто литературную направленность деятельности, но само содержание понятия литературы и ее задач у него уже иное.

Для старших карамзинистов с их убежденностью в том, что поэт — «искусный лжец», а истина закрыта «непроницаемым туманом» от глаз людей, содержание произведения не было критерием его достоинства. Речь не могла идти о том, правдиво ли произведение, ибо сама возможность постижения истины бралась под сомнение; не могло рассматриваться как критерий и представление о «высокости», общественной значимости избранного поэтом предмета. Субъективизм мировоззрения заставлял в равной степени отвергать и «возвышенные предметы» классицизма, и «высокие песни» декабристов, потому что сам критерий «возвышенности» подразумевал и веру в общеобязательность истины, и — как результат — интерес к торжественной, общественно значимой поэзии.

Единственным возможным достоинством искусства, с позиции старших карамзинистов, делалось изящество слога, мастерство исполнения, а доминирующим критерием — критерий вкуса. Эти принципы, от которых сам Карамзин к интересующему нас времени уже отошел, нашли фанатических поборников в лице таких деятелей «Арзамаса», как Дашков и «маркиз» Блудов. Борьба с «Беседой» для Блудова и Дашкова — это критика плохих писателей, война с дурным вкусом. Главные объекты насмешек — это употребление шишковистами «грубых» арханзмов, недостатки их стиля и версификации<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ. Ф. 19. № 28. Л. 10 об.

<sup>2</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 238—239.

<sup>3</sup> Именно в этом смысле Н. Тургенев писал брату Сергею Ивановичу: «Здесь тористы, как-то: Блудов, Дашков и другие, к коим присоединился в почетные и безгласные члены и Ал<ександр> Ив<анович>, соединившись в общество, под названием Арзамаса, утешают себя, и только что себя, критикою и посмеянием других писателей и похвалами Карамзину» (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 204).

Для Вяземского (его позиции в известной мере разделяли В. Л. Пушкин и Батюшков) задача литературы — распространение просвещения. Беседчики воспринимаются как невежды, враги просвещения. Более того, если Блудов и Дашков сводили критику к «спору о словах», то для Вяземского и его единомышленников этого периода антитеза «Беседа» — «Арзамас» выглядит так: беседчики хлопочут о возрождении старого слога, спорят о словах, то есть занимаются пустяками, между тем как арзамасцы — защитники просвещения, отстаивающие *содержательную* поэзию. Эту мысль подчеркивал В. Л. Пушкин:

Слов много затвердить не есть еще ученье:  
Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье.—

(«К В. А. Жуковскому»)

Поверь: слова невежд — пустой кимвала звук;  
Они безумствуют — сияет свет наук!  
Невежда,  
...бедный мыслями, печется о словах!

(«К Д. В. Дашкову»)

Такой подход вводил в литературу политические ноты, и полемика с шишковистами получала оттенок борьбы с реакцией. Спор о старом и новом слоге, развернувшийся еще до наполеоновских войн, после заключения мира с Францией приобрел новый смысл.

Полемика Шишкова против «нового слога» Карамзина усилиями ее инициатора с самого начала была переведена в отчетливо политический план. Противопоставляя всяческим новшествам старину и традицию, Шишков намекал на единство устремлений реформаторов русского языка и французского политического быта. Защита традиции, существующего феодально-церковного уклада противопоставлялась «мечтаниям» новаторов.

После окончания эпохи революции и империи само содержание понятий «традиция» и «мечтания» в политической жизни Европы изменилось. Социальная структура общественной жизни во Франции претерпела столь глубокие изменения, что полная реставрация дореволюционного порядка оказалась невозможной. Если ультра-роялисты, поддержанные в совете монархов австрийской дипломатией, считали возможным настаивать на бескомпромиссной реставрации, то умеренно-консервативные и либеральные деятели, не одобряя революции, доказывали, что изменения уже произошли, а потому попытки воплотить в политической действительности реакционные химеры эмигрантов ни к чему, кроме новых революций, не приведут. В этих условиях аргумент «традиции» оказывался в руках сторонников конституции 1815 г., а «мечтателями» предстали сторонники «чистого» абсолютизма и возвращения к дореволюционным порядкам.

Политические споры в России не были отгорожены стеной от этой кардинальной дискуссии эпохи. В свете новой идейной ситуации карамзинисты предстояли как защитники изменений, уже произошедших в языке и внедренных в его практику, в то время как Шишков предлагал заgrimированные под старину неологизмы, научная состоятельность которых была уже под

подозрением, или прямой возврат к отвергнутой жизнью старине. В этих условиях нападки на шишковистов приобретали широкую политическую перспективу, международный аспект которой не был тайной для современников. Одной из сторон этой позиции — что особенно важно для Вяземского — был отказ от взгляда на Францию как на гнездилище разврата и безбожия и национального врага. Французская философия, просветительская публицистика и даже в какой-то мере революция переставали быть темами, упоминание которых возможно лишь в контексте грубых ругательств.

Принятие предпосылки о том, что Европа 1815 г. не может походить на Европу 1788-го, а также призыв к уважению «духа времени» и произведенных им изменений не означали, конечно, сочувствия революционной эпохе. Это был тот умеренный конституционализм, который в те годы еще не противоречил правительственному курсу Александра I. Не следует забывать, что именно русский император был инициатором и защитником парижской и варшавской конституций. В этом смысле либеральный «Арзамас» был гораздо более официозен, чем откровенно реакционная «Беседа». Но это же положение — в условиях первых лет мира вполне выдержанное в духе правительственного курса — потенциально содержало и возможность революционных выводов. На этот счет позже недвусмысленно показал Пестель: «Возвращение Бурбонского дома на французский престол и соображения мои впоследствии о сем происшествии могу я назвать эпохою в моих политических мнениях, поиятиях и образе мыслей: ибо начал рассуждать, что большая часть коренных постаиновлений, введенных революциею, были при ресторации (так! — Ю. Л.) монархии сохранены и за благие вещи признаны, между тем как все восставали против революции и я сам всегда против нее восставал. От сего суждення породилась мысль, что революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся тем другим еще сужденнем, что те государства, в коих не было революции, продолжали быть лишенными подобных преимуществ и учреждений»<sup>1</sup>.

Для характеристики позиции Вяземского необходимо иметь в виду еще одну существенную черту. Среди других арзамасцев — и это роднит его с А. С. Пушкиным — Вяземский выделялся прочностью связей с просветительской традицией XVIII в. Это особенно важно было для периода, когда огромное большинство общественных деятелей от Жозефа де Местра и Шатобриана до мадам де Сталь, от Шишкова до Жуковского положили в основу своего мировоззрения отказ от просветительской традиции XVIII в. Резче всего это проявилось в отношении к религии. Вяземский не скрывал своего отрицательного отношения к церкви и христианству. В письме Батюшкову от 20 октября 1813 г. он возмущался: «Скажи мне, ради Бога, которому я, сказать мимоходом, мало верю, что тебе вздумалось написать на адресе: „в жительство“. Ты совсем с ума сойдешь. Песня песней сделает из тебя, как я вижу, Шишкова. Сделай милость, не связывайся с Библией.

<sup>1</sup> Восстание декабристов: Материалы. М.; Л., 1927. Т. 4. С. 90.

Она портит людей, я ее прочел нынешнее лето и теперь уж ничему не верю. C'est un ramas d'infancies et de bêtises emphatiques<sup>1</sup>. Приезжай в Москву поспорить со мною. Je suis herissé de citations de la Bible<sup>2</sup>.

Если в приведенной цитате в гораздо большей степени чувствуется «вольтерьянская» насмешка над Библией, чем серьезный материалистический взгляд, то в письме А. И. Тургеневу от 16 мая 1819 г. явно ощущается влияние философии XVIII в. Вяземский цитирует «Орлеанскую деву» Шиллера в переводе Жуковского:

Творец земли себя в смиренной деве  
Явит земле, зане Он всемогущий.

Далее следует комментарий: «А я говорю: „Зане она всемогущая“, et pour cause<sup>3</sup>. То есть, кто она? — Природа. Зачем же не Бог? — Я его не понимаю! Ну, доволен ли ты? Режь, жги меня<sup>4</sup>.

С еще большей определенностью свое безразличие к вопросам религии Вяземский выразил в письме к Воейкову от 2/14 ноября 1818 г.: «Я не безбожник и не божинок, так как я не молинист и не жансенист, не глукист и не пичинист; потому, что мне ни до того, ни до другого дела нет. Не иначе буду жить, если докажут мне как дважды два четыре, что все то, что говорят попы, правда или ложь <...> Я во французских философах не веру их люблю, но ум, так как и в Аталии не духовность люблю, а поэзию. Вольтер воевал во Франции, в земле католической, где духовные зарезали Генриха IV и готовились зарезать просвещение; может быть, увлечен он был за край: но пламень души, как и другой пламень, не может быть обуздан. Жалея о том, что он опалил соседние дома, поблагодарим его за то, что он выжег дом, где царствовала чума; а в слепой ненависти к огню, что мы делаем? Идем шевелить оставшийся пепел и отыскивать головешки, из коих старого дома не построим, а только что разнесем заразу. Как вы ни говорите, а религия со всеми своими приборами — скипетрами, топорами, свечочами — не оживет по-прежнему. Даром, что она сделалась вещь казенная, а что пословица говорит казенная на воде не тонет и в огне не горит<sup>5</sup>.

Воейков имел основания утверждать, что Вяземский смотрит на вопросы религии «в очки Гельвеция и Дидерота»<sup>6</sup>. Отношение к религии сразу же клало между Вяземским и шишковистами грань, гораздо более глубокую, чем чисто литературные разногласия. Более того, с его точки зрения удавалось раскрыть некоторые общие аспекты в, казалось бы, столь противоположных воззрениях беседчиков и сторонников Жуковского.

<sup>1</sup> Это свалка инфантильностей и надутых глупостей (фр.).

<sup>2</sup> Архив ИРЛИ. Ф. 19. Ед. хр. 24. Л. 5. «Я набит цитатами из Библии» (фр.).

<sup>3</sup> И с основанием (фр.).

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 235.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1234. Л. 1—1 об.

<sup>6</sup> Там же. Л. 18 об. Показателен интерес Вяземского к «Куму Матвею» — одному из наиболее резких антирелигиозных романов XVIII в. (Остафьевский архив. Т. 1. С. 83). Автор — Дюлоран (Le compère Mathieu par Dulaurens), русский перевод П. А. Пельского в 1803 г.

В борьбе с просветительством XVIII в. Шишков опирался на ортодоксальную церковность и подозрительно относился к придворному мистицизму. Однако творчество наиболее самобытных поэтов «Беседы»: Шихматова-Ширинского, Боброва — было органически связано именно с иррационалистическими тенденциями литературы XVIII в. Вопреки общераспространенному мнению, «Беседа» ни в малой степени не была связана с традициями классицизма, то есть рационалистической эстетики в духе Буало. Само имя этого последнего гораздо чаще встречается в эти годы как авторитет в сочинениях Вяземского, В. Л. Пушкина и начинающего А. С. Пушкина. В творчестве Пушкина-лицейста Буало неизменно выступает как поборник разума, авторитет, на который поэт опирается в борьбе с невежественными шишковистами.

Дай Бог <...>  
 Чтобы Шихматовым на зло  
 Воскреснул новый Буало —  
 Расколов, глупости свидетель<sup>1</sup>.

В послании «К Жуковскому» вслед за выпадам против «Беседы» («Варяжские стихи визжит Варягов строй») следует:

Явится Делрео, исчезнет Шапелен<sup>2</sup>.

В. Л. Пушкин программному посланию «К Д. В. Дашкову» предпосылает эпиграф из Буало. В сходной функции фигурирует и имя Расина. Классицизм — искусство, опирающееся на разум, отрицательно относящееся к традиции — исторической и церковной — не мог быть основой для контрреволюционного традиционализма. Творчество беседчиков — от одаренного Шихматова-Ширинского до бездарного Евстафия Станевича — опиралось на предромантическую теорию искусства, в ее специфическом истолковании русской масонской эстетики XVIII в. Здесь мы встречаем и аллегоризм, и напряженную эмоциональность, и культ Клопштока и Мильтона, и, главное, атмосферу иррациональности, характерную для творчества А. М. Кутузова, позднего Хераскова и т. д.

Творчество Жуковского противостояло художественной практике «Беседы» в вопросах языка и стиля и в целом ряде общезстетических проблем. Однако в одном, чрезвычайно существенном аспекте — отрицательном отношении к просветительскому наследию, тяге к иррациональному — они совпадали. В этом смысле отгородить поэтику сокровенных мистических тайн (например, в творчестве Шихматова) от поэтики Жуковского было нелегко. Не случайно упрек в непонятности, постоянно адресуемый Вяземским и молодым Пушкиным «Бибрису» и «шахматно-пегому геию», мог быть (а в дальнейшем и был) обращен против Жуковского.

В этом смысле знаменательно демонстративное тяготение Вяземского и молодого Пушкина к традиции французской поэзии с ее подчеркнута четким,

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 181.

<sup>2</sup> Там же. С. 196, 197.

прозрачным стилем и отталкивание от «бессмыслицы» предромантической стилистики.

Однако атеистические настроения Вяземского этих лет отгораживали его не только от лагеря реакцион. Указание на принадлежность того или иного деятеля интересующей нас эпохи к «либеральному лагерю» порой оказывается еще недостаточным для определения его реального исторического места. Либеральный лагерь этого периода весьма емок, исполнен различных оттенков, причем те или иные его варианты, практически неразличимые в условиях 1815—1818 гг., в исторической перспективе могут являться исходными точками становления различных, порой враждебных, группировок. В первые годы после окончания наполеоновских войн реакционная сущность придворного мистицизма еще не раскрылась перед современниками. Глубоко прав был А. Н. Шебунин, писавший, что, «конечно, не Священный Союз и не мистика в 1816 г. отталкивали прогрессивную часть дворянства от реакционной. Образование Священного Союза, как мы видели, не встретило протеста со стороны такого убежденного либерала, как Н. И. Тургенев. Мистика же отталкивала скорей Шншкова, сторонника церковного православия, чем А. И. Тургенева, активного деятеля библейского общества, или В. А. Жуковского»<sup>1</sup>.

А. Н. Шебунин не учел лишь того, что либеральный лагерь этих лет не был единым. В частности, отрицательное отношение к религии и мистицизму составляло одну из потенциальных граней будущего размежевания передовой дворянской общественной мысли и правительственного лагеря. Это уже в 1815 г. выделило Вяземского и молодого Пушкина из числа других арзамасцев. В 1819 г. Вяземский и А. И. Тургенев резко разошлись в оценке речи М. Орлова в киевском отделении Библейского общества. К этому времени отличия в позиции друзей будут уже явными, и Вяземский в резкой форме напишет А. И. Тургеневу: «Воля твоя и всех православных, ваши общества никакой народной прибыли не прикесли. Я ручаюсь, что в городах изо ста простолюдннов едва ли у одного същется Библия, а в деревнях о ней и слуха нет. Они все разошлись по барам, которые держат Библию у себя в доме, как вельможи Александра держали шею на стороне. Вот и вся тут недолга. А вы своими отчетами только морочите людей, и то по условию взаимному; кстати спросить, кого здесь обманывают? Спросите у России: все голоса сольются в один анти-библейский. Иные видят в обществе зло, другие — дурачество»<sup>2</sup>. Когда в 1819 г. Сперанский перевел сочинения Фомы Кемпийского, Вяземский в резкой эпиграмме назвал его «угодником самовластья» и далее, в письме А. И. Тургеневу, писал: «Он поставил в дураки своего Фому, который говорил: „Человек имеет два крила, на коих может воспарить от вещей земных: простоту и чистоту“. Он навязал себе два лучшие крила: ханжество и подлость. Как можно себя унижить до такой степени, чтобы промышлять этою дрянью; и как можно унижить людей до того, чтобы

<sup>1</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 27.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 346—347.



требовать от них такие дурачества! Нет сомнения, что ни со стороны требующей, ни со стороны угождающей нет никакой искренности. Что за юродливость такая! Тьфу, черт вас всех побери!»<sup>1</sup> А еще за полтора года до этого письма, летом 1818 г., он писал Воейкову: «При Александре Македонском, если бы я и был кривошеею, то старался бы как-нибудь скрыть этот недостаток; у нас, в наше время, если бы я был набожен, то был бы про себя, чтобы не замешаться в ряды ханжей и обезьян»<sup>2</sup>. В указанном смысле из арзамасцев настроения Вяземского разделял только А. С. Пушкин с его демонстративным культом «святой библин Харит» — «Орлеанской девственницы» Вольтера и, совершенно в тон Вяземскому, выпадами против

Святых невежд, почетных подлецов  
И мистики придворного кривлянья<sup>3</sup>.

Из подобных предпосылок вытекало отрицательное отношение к библейской стилистике в поэзии, неоднократно выражавшееся Вяземским в те годы.

Однако, отгораживая поэта от более умеренных единомышленников и прямо реакционных противников справа, эта же самая тенденция свидетельствовала об ограниченности его возможностей слева.

Формирующиеся тайные организации декабристов сразу же встали перед необходимостью выработки художественного стиля, который мог быть легальным адекватом нелегальных политических устремлений. Потребовалась поэзия политической тайнописи, емкая по общественно-эмоциональной насыщенности. Церковная литература выработала вековую традицию аллегорического толкования библейских текстов. Это превращало усвоенный русской поэзией XVIII в. обширный ассортимент ветхозаветных образов (Новый завет, произинный идеей смирения, меньше подходил для революционной символики; Пушкин позже, переводя тексты Священного писания на современный ему язык политики, иронически назвал Христа «умеренным демократом») в готовый арсенал конспиративной поэзии. Именно так использовался библейский стиль Ф. Глинкой, М. А. Дмитриевым-Мамоновым. Подобный стиль был чрезвычайно характерен для ранних, еще не свободных от заговорщической тактики, организаций декабризма. Вяземскому и Пушкину в этот период была и чужда идея конспирации, и непонятны порождаемые ею литературные формы. Когда же Вяземский и Пушкин (особенно последний) приблизились к вопросам конспиративной поэзии, само понятие конспирации, тайнописи для декабристов уже стало иным (изменилась тактика), и «библейский стиль» оказался для самих декабристов пройденным этапом.

Первое соприкосновение Вяземского с движением декабристов связано со вступлением в «Арзамас» Н. Тургенева, М. Орлова и Н. Муравьева.

Рассматривая этот начальный этап соприкосновения Вяземского с деятельностью тайных обществ, нельзя не отметить того, что первой декабрист-

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 358.

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1234. Л. 13.

<sup>3</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. Кн. 1. С. 115.

ской организацией, с которой он столкнулся, явился Орден русских рыцарей и то мало нам известное общество, которое сложилось вокруг братьев Тургеневых. Вяземский оказывается связанным с М. Орловым, Н. И. Тургеневым, М. А. Дмитриевым-Мамоновым, А. М. Пушкиным<sup>1</sup>, А. С. Меншиковым, Д. Давыдовым. Позже в круге его знакомств мы видим и С. И. Тургенева. Однако в 1817 г. степень близости к перечисленным лицам не одинакова. А. М. Пушкин и А. С. Меншиков, видимо, вообще стояли в стороне от активной конспиративной деятельности. Д. Давыдов, по предположению М. В. Нечкиной<sup>2</sup>, примыкал к Ордену русских рыцарей. Однако, но всей вероятности, привлеченный к участию в нем горячей личной привязанностью к М. Орлову, он не разделял до конца политических идеалов своего друга<sup>3</sup>. На первом месте по близости к Вяземскому в эти годы стояли М. Орлов и Н. Тургенев. Это тем более примечательно, что, казалось бы, отношения с Мамоновым могли быть более тесными. Вяземский и Мамонов, бесспорно, издавна слышали друг о друге, как соседи по имениям. Живя одновременно в Москве, они принадлежали по рождению к одному и тому же кругу; связывало их и родство Вяземского с Карамзиным, а Мамонова с Дмитриевым.

<sup>1</sup> В работе «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель» (см. наст. изд., с. 348—412. — *Ред.*) я высказал предположение, что членом Ордена русских рыцарей был не А. М. Пушкин, а А. Пушкин — член ложи Пламенеющей звезды. Изучение материалов заставляет отказаться от этого предположения. Алексей Михайлович Пушкин — лицо почти не изученное — был, видимо, человеком достаточно «левых» взглядов. Хорошо осведомленный в делах Ордена русских рыцарей Д. Давыдов писал Вяземскому: «Пушкину Алексею мой большой поклон, так как будущему российскому Мирабо» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1801. Л. 1 об.). Получив от Вяземского текст варшавской речи Александра I в 1818 г., А. М. Пушкин писал Вяземскому: «Наши бригадиры (термин, введенный Вяземским для обозначения московского барства, отставшего от века и живущего еще представлениями XVIII столетия. — Ю. Л.) <...> от горя такой получили спазм в горле, что не могут пропустить ни ложки ботвины, ни куса стерляди, а трое чуть-чуть кулебякою не подавились <...> Речь превосходная и совершенно в моем вкусе, жаль только, что по справедливости мы подобной не заслуживаем. Мы только умеем живо чувствовать, когда поставить ремиз в бостон, а страждущее человечество не нарушает нашего спокойствия» (Там же. Ед. хр. 2610. Л. 1—1 об.). Вяземского и А. М. Пушкина связывала длительная дружба («Я привик тебя любить еще с детства», — писал А. М. Пушкин в том же письме). И после отъезда Вяземского в Варшаву между ними продолжалась переписка. Любопытно, что письма, видимо неудобные для пересылки почтой, передавались, среди прочих лиц, и через М. Лунина (Там же. Л. 13).

<sup>2</sup> Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 134.

<sup>3</sup> В письме Вяземскому от 28 июля 1818 г. Д. Давыдов писал: «Я Орлова очень и очень люблю, но, правду сказать, несчастье мое (речь идет о разлуке с любимой женщиной. — Ю. Л.) неподвластно его утешению; надо человека, которого бы сердце отвечало моему, а Орлов слишком занят отвлеченною своею химерою, чтобы понять меня» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1801. Л. 8). Характерно и скептическое отношение к идеалам Орлова, и то, что Давыдов не поясняет своих слов об «отвлеченной химере», считая, что воззрения Орлова не составляют для Вяземского тайны.

А между тем вплоть до 1821 г. мы не располагаем свидетельствами о каких-либо попытках Вяземского сблизиться с Мамоновым. Это, видимо, не случайно. Мамонов был убежденным заговорщиком, Вяземский — не менее убежденным сторонником легально-конституционных устремлений.

Приход М. Орлова, Н. Тургенева и Н. Муравьева в «Арзамас» свидетельствовал о том, что обе тайные организации — Союз Спасения и Орден русских рыцарей — стояли на пороге перехода к новым идейно-тактическим установкам. Интерес к легальным формам проаганды, стремление расширить круг общественного влияния были предзнаменованиями перехода к установкам Союза Благоденствия. В каждом обществе были противники отказа от строго конспиративной тактики (Пестель, Мамонов) и сторонники новых установок. К последним, бесспорно, принадлежали Н. Тургенев и Н. Муравьев. Что касается до М. Орлова, то в отношении его к тактике влияния на широкое общественное мнение именно в это время произошел перелом. Показательна фраза, брошенная Н. И. Тургеневым в письме к С. И. Тургеневу от 5 декабря 1817 г.: «Я рад, что Ор<лов> сближается с филантропизмом, кот<орый> нельзя отделить от либеральных идей и против которого он прежде восставал»<sup>1</sup>.

В этом замечании, беглость которого связана с тем, что речь шла о вещах, хорошо известных обоим корреспондентам, характерно и указание на бывшее отрицание методов, воспринятых позже Союзом Благоденствия, и указание на изменение отношений к этим методам. Участие в «Арзамасе», пропаганда идеи арзамасского журнала, позже — введение ланкастерской методы обучения в Киевском военно-сиротском училище, речь в собрании Библейского общества Киева — такова цель «филантропических» действий Орлова в 1817—1818 гг. Все это были яркие выражения поисков новой тактики.

И если революционно-конспиративная деятельность первых декабристских организаций, бесспорно, была чужда умонастроениям Вяземского тех лет (вне зависимости от того, имел ли он сведения о существовании этих обществ или нет), то новые установки во многом перекликались с его взглядами.

Политическая оппозиционность Вяземского начала оформляться вскоре после окончания войн 1812—1814 гг. Эти настроения выделяли Вяземского из круга других карамзинистов. В письме к Батюшкову он писал: «Я согласен с тобою: *la Russie est triste pays*»<sup>2</sup>. В 1816 г. он пишет А. И. Тургеневу из Москвы: «Надобно действовать, но где и как? Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпительная игла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством»<sup>3</sup>.

Жажда общественной деятельности приводит Вяземского в «Арзамас». В эту пору литературные интересы уже не поглощают его полностью. При этом общественные воззрения его развиваются в том же направлении, в каком

<sup>1</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 243.

<sup>2</sup> Архив ИРЛИ Ф. 19. № 28. Л. 21 об. «Россия — печальная страна» (фр.).

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 38.

двигались мысли передовой молодежи, примыкавшей к Союзу Благодеяния. Весной 1817 г., видимо под влиянием Н. Тургенева, Вяземский принялся за изучение политической экономии. Об этом мы узнаем из упоминания Карамзина, который писал ему 26 марта 1817 г.: «Радуюсь вашим успехам в политической экономии, любезнейший князь; желаю вам постоянства и твердости»<sup>1</sup>.

Увлечение политической экономией — характерная черта для передовой молодежи тех лет. Приватные лекции по этому предмету в конце 1816 — начале 1817 г. слушают члены «Священной артели»<sup>2</sup>. Эти же лекции посещал и Пестель<sup>3</sup> и другие члены Союза Спасения. В 1818 г. вышло первое издание «Опыта теории налогов» Н. И. Тургенева, в котором так определялось значение экономических наук: «Занямающийся политическою экономиею <...> невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми вопреки им самим <...> он прнучается любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев <...> Он и здесь увидит, что все благое основывается на свободе, а злое происходит от того, что некоторые из людей, обманываясь в своем предназначении, берут на себя дерзкую обязанность за других смотреть, думать, за других действовать и прилагать о них свое мелочное и всегда тщетное попечение»<sup>4</sup>.

Эту же характерную черту времени отметил и Пушкин в незавершенном романе в письмах: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде»<sup>5</sup>.

К этому же времени относятся первые попытки участия Вяземского в «практической филантропии». Характерно, что в первом опыте на этом поприще он выступает совместно с А. М. Пушкиным.

Осенью 1816 г. в Москве дворянка Пушкина, по словам Вяземского, «однофамилька» А. М. Пушкина, «жертва несчастной любви»<sup>6</sup>, бежала с крепостным и вышла за него замуж. Вяземский и А. М. Пушкин организовали материальную помощь находившейся в бедственном положении чете. А. М. Пушкин передал им весь доход от перевода комедии «Игрок», Вяземский начал организовывать денежные сборы в Петербурге и с этой целью обратился к Тургеневым. Вяземский рассматривал это как служение делу свободы. Когда А. И. Тургенев отнесся к делу пренебрежительно, а супруга Пушкиной назвал «влюбленным холопом», Вяземский был охвачен негодованием и апеллировал к Н. И. Тургеневу как союзнику и единомышленнику:

<sup>1</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 27.

<sup>2</sup> См.: Нечкина М. В. Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцева 1814—1817 гг. // Декабристы и их время: Материалы и сообщения. М.; Л., 1951. С. 169—170; Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. С. 128.

<sup>3</sup> Сыроечковский Б. Е. П. И. Пестель и К. Ф. Герман // Учен. зап. Московского гос. ун-та. 1954. Вып. 167. С. 177.

<sup>4</sup> Цит. по 2-му изд.: Опыт теории налогов, сочинение Николая Тургенева. СПб., 1819. С. IV, V, VI.

<sup>5</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. Ки. 1. С. 55.

<sup>6</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 55.

«Покайся сейчас же своему брату в антилиберальном прегрешении, а от любви заслужи прощение устройством судьбы четы несчастной, и сожаления и, даже, вопреки восклицаний беззубых бригадирш, уважения достойной; <...> очистишь от преступного выражения. Оно у меня сидит в горле: я его пропустить не могу»<sup>1</sup>.

Однако вопросом, наиболее сблизившим в это время Вяземского, Николая Тургенева и Орлова, явилась идея издания журнала. Вяземский пришел к ней в результате эволюции творческих принципов, перемещения интересов из сферы чисто литературной и литературно-нолемической в политическую, Н. Тургенев и М. Орлов — в результате отхода от тактики заговора к тактике пронаганды.

Активная деятельность Орлова, Н. Тургенева и полностью разделявшего их арзамасскую программу Вяземского изменила общую атмосферу в этом обществе: о серьезной деятельности заговорили А. И. Тургенев и Жуковский. Попытка изменить ориентацию «Арзамаса» удалась. В этой обстановке и сложилась написанная Вяземским программа журнала.

В составленном Жуковским протоколе заседания проект Вяземского выглядит несколько иначе, чем в специальной записке Вяземского по этому поводу. Здесь на первом месте стоит раздел политики:

...В первом явлении предстала

С книгой журналов Политика, рот зажимая цензуре<sup>2</sup>.

Выпады Вяземского против цензуры находятся в прямом соответствии со словами в речи М. Орлова: «...Не будет у нас словесности до тех пор, пока цензура не примирится с здравым смыслом и не перестанет вооружаться против географических лексиконов и обверточных бумаг»<sup>3</sup>.

Протест против цензуры — это уже не насмешки над беседчиками. Уже сам по себе он означал поворот в сторону политических интересов. И вместе с тем он свидетельствовал об оппозиционной направленности предполагаемых политических статей.

В предложенной Вяземским программе журнала существует, как мы уже говорили, кажущееся расхождение с пересказом ее Жуковским, где раздел политики помещен на третьем месте. Однако по существу Жуковский понял замысел Вяземского правильно: предполагаемый автором проекта в качестве первого отдела «Нравы» в действительности тесно соприкасался с политическими вопросам. Вяземский предлагал здесь «объявить войну непримиримую предассудкам, порокам и нелепостям» и дать «картину нашего общества»<sup>4</sup>. О том, что картина эта должна была быть отнюдь не радужной, свидетельствуют первые же строки статьи Вяземского. «Глупость и бесчестие, — пишет он, — имеют свои приюты укрепленные: Академия и присутственные места»<sup>5</sup>. Показательно, что, назвав в качестве образцов для замышляемого журнала

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 76—77.

<sup>2</sup> Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 228.

<sup>3</sup> Там же. С. 209.

<sup>4</sup> Там же. С. 240.

<sup>5</sup> Там же. С. 239.

Карамзина и Новикова, Вяземский подчеркнул, что первому должно последовать в разделе *словесности*, видимо представляя себе «нравы» как продолжение *новиковской* традиции. Не случайно раздел этот Вяземский предполагал назвать «„Живописцем“ в честь покойника». Сюда должны были войти «картины общих нравственных повестей, переписка со всеми губерниями, вымышленная или истинная, все равно, но вероятная; сатирические разговоры и проч.»<sup>1</sup>.

Следует иметь в виду, что в третьем разделе («Политика») предполагалось дать «простодушное изложение» «полезнейших мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: *силы и благоденствия народов*»<sup>2</sup> и этим «сделать в Китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый нагости всех мятежных стихий, но по крайней мере отверстие, через которое мог бы проникнуть луч света, сияющий на горизонте просвещенного света, и озарить мрак зимней ночи, обложившей нашу вселенную»<sup>3</sup>.

Сочетание первого и третьего разделов, конечно, не могло не образовать целого, цензурность которого была более чем сомнительна. Вместе с тем и Вяземский, и Н. Тургенев<sup>4</sup> в это время еще предполагали, что социально-политическое преобразование России осуществится путем правительственного акта. Цель передовых деятелей состояла не только в распространении «здравых» политических понятий, пропаганде конституционных и антикрепостнических идей, но и в организации давления на правительство, стремлении парализовать влияние реакции на ход решения государственных дел. В это время возможность согласованных действий с правительством еще не исключалась, но мыслилась как сотрудничество не во имя исполнения собственных видов правительства, а ради осуществления программы социально-политического возрождения России. Надежды же, что правительство удастся увлечь на этот путь, еще не исчезли. Вопрос об отношении к правительству, видимо, возник сразу же после того, как дело организации журнала вступило в период осуществления. Прекрасно понимая, что об издании в России политического журнала, да еще критического направления, не заручившись поддержкой сверху, частным лицам нечего и думать, Вяземский взялся за нелегкую задачу доказать правительству необходимость существования подобного издания.

Видимо, с этой целью и была написана недатированная рукопись Вяземского, хранящаяся в архиве Тургеневых в Пушкинском доме. Содержание и почерк позволяют ее предположительно датировать временем до поездки в Варшаву. В этом случае она могла быть написана лишь в 1817 г., в связи с проектом арзамасского журнала.

В записке Вяземский стремился убедить правительство в том, что издание подобного журнала соответствует интересам самого правительства. Общест-

<sup>1</sup> Арзамас и арзамасские протоколы. С. 241.

<sup>2</sup> Показательна даже терминологическая близость к декабристским высказываниям этого периода.

<sup>3</sup> Арзамас и арзамасские протоколы. С. 241.

<sup>4</sup> М. Орлов в эту пору, видимо, уже был свободен от подобных иллюзий.

венное мнение, подчеркивал он, сделалось силой, без которой управление невозможно. Это понимали наиболее прозорливые монархи (Екатерина II, Наполеон). «Наполеон, который не очень ухаживал за общим мнением, но для коего все средства властолюбия были по ираву, не пренебрегал и средствами убеждения. Не только журналы, брошюры писались под его диктовку, но рука его, которая, казалось, была довольно тверда собственною силою и силою шпаги, всегда обнаженной, вооружалась нередко и пером. Наполеон — сочинитель журнальных статей есть блестящее свидетельство действительности письменной власти»<sup>1</sup>.

В основе «Записки» Вяземского лежит мысль о невозможности задержать поступательное движение народов к просвещению и свободе. Активное участие народов в решении собственной судьбы — черта века. Правительство не может больше опираться только на «торжество силы физической».

«В наше время общее участие в деле общественном очевидно: оно, может быть, доходит до крайности и ведет за собою неминуемые злоупотребления; должно обнаруживать сии злоупотребления, но нельзя отвергнуть начало или не признавать его. Отрицать истину не есть обессилить ее. Хотите ли присвоить ее в похвалу сию — станьте в средоточие круга, который она обводит. Отступая от него, вы будете только вне круга движения, но движения не остановите. Один ребенок, закрывая глаза и ничего не видя, думает, что он воцарил тьму вокруг себя»<sup>2</sup>.

Общее движение вперед не прошло и мимо России. Правительство обманывается, считая, что в русском обществе нет оппозиции.

«Недостаток гласности у нас не есть свидетельство безмолвия. Прислушайтесь в толки столичных гостиных, в толки губернских дворянских съездов, и вы удостоверитесь, что у нас есть свои трибуны, свои оппозиционные словесные журналы»<sup>3</sup>.

Предложение Вяземского должно было прозвучать для правительственных кругов как парадокс: он не предлагал борьбы с оппозиционными, критическими настроениями. Напротив, он считал необходимым организовать эти силы, дать им оформиться, чтобы в дальнейшем на них опереться в преобразовательной деятельности. Вяземский хотел не оппозицию привлечь на сторону правительства, а правительство перетянуть в лагерь оппозиции.

Средством организации и объединения разрозненных сил противников реакции и должен служить журнал.

«Сие общее *фрондерство*, сия разбитая на единицы оппозиция не есть у нас политическая власть потому только, что она не приведена в политическую систему, но не менее того она в России — естественное противодействие действию правительства, тем более, что она — естественный результат русского характера и в русской крови»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ. Ф. 309. № 5017. Л. 1.

<sup>2</sup> Там же. Л. 1—1 об.

<sup>3</sup> Там же. Л. 1 об.

<sup>4</sup> Там же.

Именно поэтому необходима организация журнала, который был бы выражением политических настроений общества. Поставленный в положение полной независимости и свободы мнений, журнал сможет готовить умы к общественным преобразованиям, которые должны явиться целью правительственной деятельности. Вяземский считал, что «в России более, нежели где-нибудь, правительство должно иметь литературу союзницею себе, но союзницею добровольною, бескорыстною, благородною»<sup>1</sup>. И далее: «Журнал политический, административный, литературный, образовательный, по всем частям входящий в состав истинной государственной образованности, был бы у нас весьма важное и полезное явление. Составление его должно бы явиться правительственною мерою, вверенною исполнению людей с дарованием и благородством в мыслях, в чувствах, имени чистого, чести несомнительной. В сей журнал входили бы все виды правительства до облечения их в закон. Сей журнал был бы не только отголоском, но и указателем правительства. Он приучал бы умы к умеренному и полезному исследованию вопросов, возбуждающих участие каждого русского, как современника европейских событий и гражданина России. Ныне русские поставлены между извержением огнедышащих мнений иноплеменных, между вулканическою литературою французскою и замерзлым прудом русской литературы. Нам нужно непременно иметь теплые ключи целительные, живой воды для избежания невыгод, следующих за двумя крайностями»<sup>2</sup>.

Трудно сказать, успел ли Вяземский тогда же, в 1817 г., дать своей «Записке» ход, или она осталась в его бумагах. Вероятнее второе.

Вполне возможно, что он пробовал использовать ее при попытках организовать варшавский журнал. Однако в дошедшем до нас тексте нет связи со специфическими условиями Польши, а в более позднее время идея сотрудничества с правительством стала для Вяземского уже анахронизмом. 1818—1819 гг. — время особенно активной борьбы Союза Благочестия за легальные каналы влияния на общество. Идея организации периодических изданий, служащих делу пропаганды идеалов тайного общества в границах, допускаемых условиями легальности, — одна из наиболее характерных черт тактики Союза Благочестия в эти годы.

Организация журнала становится одним из самых устойчивых стремлений Вяземского в эти годы. Сразу же по приезде его в Варшаву в переписке с М. Орловым возникает вопрос о реализации арзамасских планов. 23 апреля 1818 г. он пишет Н. Тургеневу из Варшавы: «А что делает наш арзамасский журнал и журнальный бунтовщик Рейн? Пишет ли он к Вам? Мне сказывали, что он затопил сердитыми валами своими глиняные поля „Русской истории“ Глинки. Не дошло ли до Вас чего-нибудь»<sup>3</sup>. В борьбе за организацию журнала Вяземский, Орлов, Н. Тургенев выступают как соратники. 3 июня 1818 г.

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ. Ф. 309. № 5017. Л. 1 об.

<sup>2</sup> Там же. Л. 2.

<sup>3</sup> ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского. Ф. 167. Ед. хр. 36 (листы не нумерованы). Выступление М. Орлова против исторических сочинений С. Глинки пока не обнаружено.



Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «Я получил на днях письмо от Рейна; он в душе своей празднует царскую речь и оплакивает смерть арзамасских надежд, то есть надежд на журнал. Я в этом ему товарищ. Хороший журнал теперь был бы в самую пору, и назвать бы его „Воспреемником“. Он за толпу дул бы и плевал, отрекался бы за нее от сатаны и всех дел его, сочелся бы с Хрнстом (но только не Лабзннымским) и принял бы из купели новорожденное просвещение и показал бы его народу»<sup>1</sup>.

Зимой 1819 г. возник проект издания журнала, выдвинутый Н. И. Тургеневым. Круг предполагаемых сотрудников при этом расширялся. Журнал должен был опираться на петербургскую группу Союза Благоденствия<sup>2</sup>, кружок, группировавшийся вокруг С. Тургенева за границей, Вяземского в Варшаве и, бесспорно, Орлова в Киеве. Из известных литераторов предполагалось привлечь Жуковского («Жуковский участвует по литературе», — писал Н. И. Тургенев брату Сергею) и Пушкина. «Я много надеюсь на корреспондентов, в особенности на к<нзя> Вяземского. Старынкевич может нам сообщить весьма интересные статьи. Поговорим с ним об этом. Сведения его по юриспруденции могут пролить свет и на наше законодательство. По возможности мы будем писать против рабства»<sup>3</sup>. Со своей стороны, Вяземский также готовился оказать активную поддержку журналу Н. Тургенева. В письме А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г. он спрашивал: «Что делает журнал Николая Ивановича, голубь спасения, вестник берега свободы»<sup>4</sup>.

Когда выяснилась призрачность надежд на возможность издания журнала в Петербурге, Вяземский предложил М. Орлову организовать подобное издание в Киеве. Орлов отверг эту идею из-за отсутствия в Киеве сотрудников. «Самое настоящее место для издания журнала — это Варшава», — писал он<sup>5</sup>. При этом М. Орлов указывал на благоприятное обстоятельство — существование в Варшаве свободы слова, гарантированной конституцией Царства Польского. Предвидя неизбежные трудности («Я знаю, как трудно сие исполнить»), М. Орлов считал, что «проект журнала должен быть составлен в самом умеренном духе»<sup>6</sup>.

Одиакo подлинныe установки журнала мыслились совсем не «в умеренном духе», причем Орлов рассматривал Вяземского как полного единомышленника в этом вопросе: «У тебя есть голова и перо, у тебя родилось, судя по письму твоему, то священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава»<sup>7</sup>. Ядро сотрудников должны были составить Вяземский, Никита Муравьев, Михаил Орлов, Николай и Сергей Тургеневы. В качестве зарубежных корреспондентов Орлов предлагал

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 107.

<sup>2</sup> См.: *Тургенев Н. И. Дневники и письма*. СПб., 1911. Т. 3. С. 367; *Пушкин Н. И. Записки о Пушкине. Письма*. С. 71—72.

<sup>3</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 274.

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 206.

<sup>5</sup> Лит. наследство. Кн. 1. М., 1956. Т. 60. С. 26.

<sup>6</sup> Там же. С. 27.

<sup>7</sup> Там же.

включить арзамасцев: Дашкова, находящегося в Константинополе, и Блудова — в Лондоне. Нет никаких сомнений, что журнал с таким составом участников был бы рупором идей Союза Благоденствия. И то, что Вяземскому в нем отводилась не простая роль сотрудника — на него возлагалось руководство изданием, — свидетельствует, что Орлов не сомневался в политическом единомыслии его с другими членами редакции.

Попытки организовать журнал не увенчались, однако, и на сей раз успехом. Вяземский в письме к С. И. Тургеневу процитировал собственное выражение из письма Орлову: «...В обширной спальне России никакие будильники не допускаются, и я намерения своего в дело произвести не мог»<sup>1</sup>.

Расхождение идейно-теоретических установок Вяземского и карамзинистов старшего поколения, а также Жуковского, Блудова, Дашкова к этому времени было уже весьма значительным. Жуковский, еще будучи редактором «Вестника Европы», подчеркнул не только свое отрицательное отношение к полемике, но и полное равнодушие к политическим вопросам. Он уничтожил политический отдел в журнале, изменив облик, приданный изданию его первым редактором — Карамзиным. 15 сентября 1809 г. Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымает у моего журнала несколько подписчиков, — но так тому и быть»<sup>2</sup>.

Для Вяземского журнал сделался высшим выражением литературной жизни, а поэт рисовался не возвышенным мечтателем и не праздным ленивцем, а полемистом, сатириком и прежде всего — политическим деятелем, черпающим вдохновение в газетных известиях о борьбе свободы и деспотизма. В 1819 г. он обронил фразу: «Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом»<sup>3</sup>. Связь литературы и политики представляется ему естественной. Поэтому его не устраивает безличность современных ему журналов, отсутствие четкой политической программы: «Журналу должно иметь свою физиогномию, свой взгляд, свой дух. Все наши журналы — школьные архивы ученических опытов»<sup>4</sup>.

\*\*\*

В начале 1818 г. Вяземский прибыл в Варшаву. Как мы видели, к этому времени он уже был не только фрондером и «либералистом», а человеком, чья деятельность практически совпадала с легальной стороной действий членов Союза Благоденствия.

Н. Кутанов (С. Н. Дурьлин) в статье «Декабрист без декабря» утверждает, что в это время расхождений между правительством и Вяземским не было. «Убеждения либералиста-поэта и либералиста-императора, по-видимому, совпадали»<sup>5</sup>. С ссылкой на «Мою исповедь» С. Н. Дурьлин утверждает, что

<sup>1</sup> Архив бр. Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 6. С. 8.

<sup>2</sup> Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 47.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 251.

<sup>4</sup> Там же. Т. 2. С. 149.

<sup>5</sup> Кутанов Н. Декабрист без декабря. С. 203.

«Вяземский был в праве считать умеренные заповеди своего либерализма параграфами правительственной, явной и тайной, программы»<sup>1</sup>. Он считал, «что его конституционализм и либерализм — самый последовательный и искренний легитимизм»<sup>2</sup>. Однако необходимо иметь в виду, что «Моя исповедь» — документ, составленный в конце 1820-х гг. с целью самооправдания и для таких читателей, как Бенкендорф и Николай I. Вяземский в нем систематически затушевывает остроту своей политической позиции начала 1820-х гг. Обращение к документам рисует картину значительно более сложную.

Круг, в котором вращался Вяземский в 1817 г., — Н. Тургенев и М. Орлов — был весьма далек от восхищения реальным правительственным курсом или личностью Александра I. Служебная атмосфера, окружавшая Вяземского в Варшаве, и наблюдения над политической жизнью Польши также не способствовали укреплению доверия к либеральным намерениям правительства. Если еще в 1817 г. Вяземский, как и Н. Тургенев, склонен был считать, что благоденствие народа зависит от хорошо составленной конституции, от того, как будет сформулирована та или иная статья закона, то теперь он столкнулся с расхождением между правами, торжественно прокламированными и закрепленными конституционным актом, и реальной практикой деспотического правления. Уже в 1818 г. Вяземский понял, что «Уставная грамота их [поляков] если напечатана на мягкой бумаге, то может быть какой-нибудь пользой»<sup>3</sup>. Сообщая А. И. Тургеневу об очередном самоуничижении великого князя Константина Павловича, Вяземский с горечью добавлял: «И нога моя топчет конституционную землю»<sup>4</sup>. О том, как описывал Вяземский друзьям конституционные порядки в Польше, свидетельствует ответное письмо к нему Д. Давыдова: «Что ты умолк, любезный друг? Не от удовольствия ли жить в свободном краю, огражденном осмьюстами тысяч русских штыков, и среди вольных прений, заглушаемых барабанами и командными словами вахтпаралов?»<sup>5</sup> Слово «конституция» начинает употребляться Вяземским в ироническом контексте. В ноябре 1818 г. он пишет находящемуся в Константинополе Дашкову. В письме Вяземский с ироническим намеком на положение в Варшаве говорит о «либеральной конституции выпрениной Отоманской порты»<sup>6</sup>. Эти наблюдения, начавшиеся с первого дня пребывания в Варшаве, оформились в прочное убеждение в том, что после того, как конституция дарована, предстоит борьба с правительством за ее реальное осуществление. Мысль эту предельно четко Вяземский выразил в известном письме к Орлову: «Что делают в Польше? — Люди благоразумные и благомыслящие стараются разгадать, имеет ли Польша какое-нибудь бытие историческое или только газетное, и то, что написано на бумаге, может ли быть приведено в наличное»<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Кутинов Н. Декабрист без декабря. С. 205.

<sup>2</sup> Там же. С. 206.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 148.

<sup>4</sup> Там же. С. 268.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2324. Л. 17.

<sup>6</sup> ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского. Ф. 167. № 24. Л. 1 об.

<sup>7</sup> Архив бр. Тургеневых. Вып. 6. С. 377.

В кругах, с которыми Вяземский сталкивался по служебным делам, отношение к либеральным обещаниям Александра I в варшавской речи 1818 г. также было скрыто ироническим. Великий князь Константин Павлович чувствовал себя в Польше удельным князем, не любил Аракчеева и, в рамках допустимого, фрондировал по отношению к петербургским властям. Добиваясь личной преданности, он охотно принимал на службу «гонимых» и склонен был смотреть сквозь пальцы на критику правительственных действий, если она направлена была в адрес петербургских властей и не задевала его лично. Несмотря на откровенную «либеральность» Вяземского, великий князь склонен был до определенного времени с ним заигрывать. В мае 1819 г. А. Я. Булгаков писал брату из Варшавы о том, как он представлялся великому князю: «Тут Вяземский был для компании. В <великий> князь долго держал В <яземского> в кабинете и очень его обласкал, показывает войско, угощает и пр.»<sup>1</sup>. Вяземский не обольщался ласками брата царя. Отрицательное отношение к Константину Павловичу установилось у него давно, прочно и не менялось. Еще в 1815 г. он писал Батюшкову: «Прости, любезный, милый Константин [слава Богу, не Павлович]!»<sup>2</sup>.

Однако близость к высшим сферам варшавского правительства позволяла Вяземскому получать политическую информацию из первых рук. К речи Александра I в сейме в 1818 г., да и ко всей парламентской процедуре, в кругах, близких к великому князю, относились с солдатски прямолинейной насмешливостью. Константин Павлович писал Н. М. Сипягину — своему другу и доверенному лицу: «Посылаю вам экземпляр программы бывшей здесь 15-го (27-го) числа в замке пьесы gratis, на которой я фигурировал в толпе народа, играя роль пражского депутата по избрании меня в оные обывателями варшавского предместья Праги. Пьеса сия похожа на некоторую русскую комедию, когда чихнет кто впереди, то наши братья депутаты всей толпой отвешивают поклоны»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Русский архив. 1900. № 3. С. 201.

<sup>2</sup> Архив ИРЛИ. Ф. 19. № 28. Л. 5 об. Последние слова густо зачеркнуты.

<sup>3</sup> Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 4. С. 88. Анализ этой цитаты и других общественных откликов на речь Александра I см.: Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 376—380. Попутно возникает вопрос: о какой «русской комедии» с участием чихающего царя (слова «кто впереди» — прозрачная зашифровка) и кланяющихся придворных идет речь? Комедия с подобным содержанием нам неизвестна. Если считать, что слово «комедия» не должно истолковываться как точное жанровое определение, то ситуация поразительно напоминает известное место в «Спасской Полести» «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Ланитные мышцы нечувствительно стянулись ко ушам моим и, растягивая губы, пронзели в чертах лица моего кривление, улыбка подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости стуженная парами влага <...> Тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталось косога вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: „Да здравствует наш великий государь, да здравствует на веки!“» (Радищев А. Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 250).

При разговоре с Вяземским Константин Павлович также не удержался от иронического каламбура, который был записан его собеседником уже в глубокой старости. «Константин Павлович, в<еликий> к<нязь>, — продиктовал Вяземский запись в „Алфавите имен и списке лиц, припоминаемых Вяземским П. А.“, — на Варшавском сейме — нунций от Праги. По закрытии сейма, говорил: *Nous sommes dénoncés (попсе)*»<sup>1</sup>.

Как же отнесся к варшавской речи Александра I Вяземский? Считал ли он ее действительно, как полагал С. Н. Дурылин, выражением своих идеалов?

Обращение к документальному материалу показывает, что Вяземский был весьма далек от наивных восторгов и уж конечно не отождествлял своих воззрений с расчетами венценосного оратора. Сразу же по горячим следам событий Вяземский отправил Н. И. Тургеневу французский текст речи — печатную листовку «*Discours prononcé par Sa Majesté l'empereur et roi à l'ouverture de la diète du Royaume de Pologne le 15/17 mars 1818 à Varsovie*» — с дарственной надписью: «Варшавский подарок Николаю Ивановичу Тургеневу от Вяземского»<sup>2</sup>. Наиболее важные места Вяземский отчеркнул на полях волнистой линией, а около центрального — обещания царя распространить «законно-свободные учреждения на все пространство земель, вверенных провидением моим заботам» — написал иронически: «*Croyez cela et buvez de l'eau*»<sup>3</sup>. 23 апреля 1818 г. он писал тому же Н. И. Тургеневу: «Посылаю Вам, любезнейший Николай Иванович, продолжение журнала варшавского сейма. Что скажете вы о наших законоположительных речах и законно-свободных обещаниях? Да придет царствие твое! Не так ли? *Va-t-en voir, s'ils viennent, Janeau, va-t-en voir s'ils viennent!*»<sup>4</sup>

Во французских репликах уже звучит сомнение в реальности обещанного. Развернутая оценка речи дана в письме А. И. Тургеневу от 3 июня 1818 г. Вяземский допускает, что за сеймовой речью может последовать и исполнение обещаний — дарование России конституции. «Речь государя, у нас читанная, кажется, должна быть закускою перед приготовляемым пиром». Однако Вяземский вполне допускает и другую возможность — сознательный обман общественности: «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет». Но и в последнем случае речь может принести пользу — на нее можно будет опереться, когда придется оказывать на правительство давление. «На всякий случай я был тут арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет»<sup>5</sup>. Необходимо заметить, что в этом контексте «Арзамас» понимается не как конкретное, уже распавшееся, литературное общество с

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 43. «Мы отреклись» (*фр.*) — непереводимая игра слов.

<sup>2</sup> Хранится в Тургеневском архиве, в рукописном собрании ИРЛИ (Пушкинского Дома). Ф. 309. № 3828.

<sup>3</sup> «Верьте этому и попивайте водичку» (*фр.*).

<sup>4</sup> «Поди-ка погляди, не идет ли, Ванюша, поди-ка погляди!» (*фр.*).

<sup>5</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 105.

четкой организационной структурой, а как некое духовное братство разбросанных в разных городах свободолюбцев. При этом ясно, что не все реальные арзамасцы мыслятся членами этого политического «Арзамаса». Всего за десять дней до цитированного выше письма Вяземский упоминал в переписке «либеральные идеи, которые у нас переводят законносвободными, а здесь можно покуда назвать арзамасскими»<sup>1</sup>.

Вместе с тем варшавская речь оскорбила патриотическое чувство Вяземского, как и большинства декабристов. Он писал: «Нельзя, однако же, русскому не пожалеть, что между тем как поляки посылают представителей, судят и отвергают проекты законов, мы не имеем права говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем показывать всю его мерзость и беззаконность»<sup>2</sup>. А через несколько дней он снова вернулся в письме к этому вопросу: «Зачем говорить полякам о русских надеждах! Дети ли мы, с которыми о деле говорить нельзя? Тогда нечего и думать о нас. Боятся ли они слишком рано проговориться? Но разве слова его не дошли до России? Тем хуже, что Россия не слыхала их, а только подслушала»<sup>3</sup>.

Таким образом, выступление царя в сейме вызвало у Вяземского сложное чувство, в котором надежда сочеталась с недоверием и досадой и которое менее всего походило на восторг и безоговорочное принятие. Любопытно, что Вяземский почувствовал необходимость проверить свое впечатление мнением Орлова. «Любопытно знать мнение Рейна о новых чудесах царства Польского. Что касается до меня, то я, право, не имею еще никакого положительного об этом мнения»<sup>4</sup>.

Период 1818—1821 гг. (до изгнания Вяземского из Варшавы) изложен С. Н. Дурылиным сжато и суммарно. А между тем это, бесспорно, один из основных этапов эволюции Вяземского. И дело не сводится к тому, чтобы выбрать из его многочисленных высказываний те или иные — пусть даже очень яркие — свидетельства его «либерализма». Необходимо раскрыть закономерности эволюции его мировоззрения, выявить направление этой эволюции и сопоставить ее с внутренними процессами движения декабристов за те же годы.

Изучение этого периода тесно соприкасается с другой темой: Вяземский и польское освободительное движение, однако рамки настоящей работы не дают возможности рассмотрения этого существенного вопроса, который должен стать темой отдельного исследования.

Вскоре после варшавской речи Александра I Вяземский был привлечен к разработке проекта будущей конституции России — Государственной уставной грамоты. С. Н. Дурылин рассматривает работу Вяземского над конституцией как время наибольшего сближения с правительством: «В тогдашней деятельности Александра I Вяземский не мог не видеть шагов, которые последовательно вели к российской конституции». Касаясь разговора Вязем-

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 102.

<sup>2</sup> Там же. С. 103.

<sup>3</sup> Там же. С. 105.

<sup>4</sup> Там же. С. 103.

ского с царем (об этом см. ниже), он заключает: «Возможно ли было чиновнику получить большие доказательства верности своего понимания воли правительства, чем те, что Вяземский получил от Александра I!»<sup>1</sup>

Такое освещение настроений Вяземского вряд ли убедительно. Как мы увидим из дальнейшего изложения, он уже в конце 1818 г. сомневался в реальности конституционных планов правительства и лично царя. И если еще в июле 1818 г. он полагал, что «пустословия» в речи царя «искать нельзя», то в начале ноября он писал: «„Язык мой враг мой“. У него ничего того ни на уме, ни на сердце нет<sup>2</sup>, а все это так говорится, для блезиру. А дураки-то и разинули рты! Впрочем, государствование — выученная роль. Что мне за дело до души актера! Была бы игра у него хороша, а законы партера были бы так положительны, чтобы он на сцене не мог никогда забиться: вот и все! *А я все актеру, какой бы он добрый человек ни казался, пальца в рот не положу.* Поверь, в этом ремесле, от престола до лубочного поля, всегда есть примесь дьявольского: одного чистого человеческого не станет на непрерывные проказы. О всяком государе можно, то есть, всякий государь или актер может сказать с Магометом:

Исчезнет власть моя, коль узнан человек  
Потемкин»<sup>3</sup>

А в середине ноября Вяземский уже прямо утверждает, что речь царя — обман. Александр I «бонапартиничал, то есть мазал их [поляков] по губам в глазах Европы»<sup>4</sup>.

К моменту окончания работ над Грамотой (1820) взгляды Вяземского пережили еще более значительную эволюцию. Прав А. В. Предтеченский, пришедший к выводу, что «Вяземский не придавал своей работе никакого значения»<sup>5</sup>.

Пожалуй, большую важность для исследуемой темы имеет вопрос: осведомил ли Вяземский кого-либо из декабристских деятелей о секретных проектах правительства? Г. В. Вернадский предположил, что содержание Государственной уставной грамоты стало известно Н. Муравьеву через Н. И. Тургенева<sup>6</sup>. Однако аргументация его страдала произвольными допущениями и хронологическими неувязками. А. В. Предтеченский сформулировал это допущение значительно более осторожно. Со ссылкой на «La Russie et les Russes» он пишет: «Очень вероятно, что о грамоте знал и Н. И. Тургенев»<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Кутанов Н. Декабрист без декабря С 204

<sup>2</sup> «Ум» и «сердце» (в другом месте «душа») здесь имеют характер политических терминов «Сердце» значит, что Александр стремится ввести конституцию по любви к свободе и законности, а «ум» — по политическому расчету, вопреки личным симпатиям. Ср. письмо А. И. Тургеневу 3 июня 1818 г. «Как бы то ни было, государь был велик в эту минуту душой или умом, но был велик» (Остафьевский архив Т 1 С 105)

<sup>3</sup> Остафьевский архив Т 1 С 142 Курсив мой — Ю Л

<sup>4</sup> Там же. С 148

<sup>5</sup> Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России С 385

<sup>6</sup> См. Вернадский Г. В. Скрытый источник конституции Н. А. Муравьева // Известия Таврического ун-та Симферополь 1919 Кн 1

<sup>7</sup> Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России С 385

Между тем документы позволяют установить в этом вопросе некоторые интересные подробности. В начале 1820 г. через Варшаву проезжал Сергей Тургенев. О свободомыслии его Вяземский был уже слышан. «Не нашим либералам жбан», — писал ему А. И. Тургенев<sup>1</sup>. Вяземский и С. Тургенев сразу же сошлись как единомышленники, причем первый посвятил второго во многие весьма секретные вопросы, разрабатываемые в канцелярии Новосильцева. 11/23 января С. Тургенев записал в дневнике: «Здесь я познакомился с князем Вяземским и г. Новосильцевым. Они приняли меня дружески и радушно. Проект Вяземского о Польше кажется лучшим, какой возможен в настоящих обстоятельствах. Дело идет об установлении во всех польских провинциях и в собственно России наместничеств и представительного правления (lieutenance et de représentations), как здесь <...> У нас будет великая империя с провинциальными собраниями представителей (avec les états provinciaux)»<sup>2</sup>.

Через три дня он записал в дневнике (уже по-русски) размышления, видимо являющиеся отзвуком бесед с Вяземским: «Я смотрел замок и в нем залу сенаторов и представителей. Зачем бы не начать таких же собраний в России? Жители всяких наместничеств собирались бы особо, хлопотали бы о своих делах и посылали бы в Петербург одного из своих представителей, — выбранного купно сенаторами и нижею камерою. Собрание сих вторичных представителей составило бы настоящий Государственный Совет, которому вначале позволено было бы только рассуждать. Не лучшее ли это было бы средство предупредить то раздробление Российской империи, для единства коей многие почитают деспотизм необходимым <...> Когда же Россия имела лучшую эпоху заняться преобразованием оной (внутренней политики. — Ю Л)? Надобны опыты — испытайте, делайте опыты в управлении в Варшаве, в армии — в корпусе во Франции, в финансах в самой России, где могущие убавиться от того дикости власти будут заменены французскою конституциею»<sup>3</sup>.

А на следующий день С. Тургенев познакомился с самим текстом секретного документа. 15/27 января он записал в дневнике: «Вчера читал мне <князь> Вяземский некоторые места из проекта Российской конституции. Главные основания ее те же, что и в Польской. Представители в наместничествах избираются народом, а из них потом выбираются члены главного сейма, которые дополняются назначенными государем членами. Третью часть представителей на малых сеймах может Пр<авительст>во исключить <...> Отвергаемость министров, свобода мнений (то есть их объявления) гарантируется. Из сего следует, что три главнейшие подпоры гражданской свободы воплощены в проекте конституции»<sup>4</sup>.

Таким образом, С. Тургенев уезжал из Варшавы, увозя с собой конспект подготавливаемой конституции. Значение этого факта не следует преувеличивать — шел 1820 год, время, когда в декабристских кругах намечался перелом

<sup>1</sup> Остафьевский архив Т 1 С 151

<sup>2</sup> ИРЛИ Архив бр Тургеневых № 25 Л 60 об Оригинал — на французском.

<sup>3</sup> Там же Л 65—65 об и 66 об

<sup>4</sup> ИРЛИ Архив бр Тургеневых № 25 Л 67—67 об



в сторону широкого признания республиканских идеалов. Принципы, сформулированные в документе, оформляемом в канцелярии Новосильцева, звучали уже как анахронизм. Возбудить сколь-либо прочной веры в реальность конституционных планов правительства эти известия тоже не могли. Веры в это не было у самого Вяземского.

Однако вопрос о том, кто же из декабристов был ознакомлен с привезенным из Варшавы конспектом конституции, — вопрос не праздный. Можно считать бесспорным, что дневник С. И. Тургенева был в руках Н. И. Тургенева. Варшавские впечатления, конечно, были предметом бесед и обсуждений. Можно предположить, что осведомлен об этом был и Н. Муравьев. Однако в нашем распоряжении есть еще одно, бесспорно, представляющее интерес, свидетельство. В 1820 г. С. И. Тургенев проезжал через Киев, направляясь в Константинополь. Здесь он встретился с М. Орловым. В письме последнего к Вяземскому от 15 июля 1820 г. есть любопытное место, не прокомментированное публикаторами: «У меня был здесь Тургенев и жил дня с четыре. Он едет в Царь-Град и теперь уже там, вероятно. Я кой-что нового узнал неожиданного, приятного сердцу гражданина. Ты меня понимаешь. Хвала тебе, избранному на приложение. Да будет плод пера твоего благословен во веки. Но когда благодать низойдет на нас?»<sup>1</sup> Ясно, что речь идет о проекте конституции.

Подготовка текста Государственной уставной грамоты растянулась на 1818—1820 гг. Взгляды Вяземского за это время успели значительно измениться.

Существенной особенностью позиции Вяземского в 1818 г. является начало расхождения его не только с реакционными, но и с либеральными тенденциями правительственного курса. Уже летом 1818 г. официальный взрыв либеральных фраз, следовавший за речью Александра I на сейме, не вызвал у Вяземского никакого восторга<sup>2</sup>. Он писал: «Государева речь обдала *законноположительным* (извините меня: я человек придворный. При Македонском покривил бы я шею; при нашем кривлю языком) паром православный народ, и все заговорило языком *законносвободным* (не взыщите и здесь) <...> Я хотел бы послушать теперь „Северную Почту“. У меня стоит в записной книжке прошлогодней: „Свободные понятия бывают у многих последним усилием и последним промыслом рабства и лестн (смотри «Северную почту»)“, теперь, я думаю, „Желтый Карла“ ей в подметки не годится, так и душит свободу»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 29.

<sup>2</sup> И декабристы на следствии, и Вяземский в оправдательных записках из тактических соображений подчеркивали якобы органическую связь своих освободительных устремлений и правительственных обещаний. Из клеветнических соображений то же делал в своих мемуарах и Н. И. Греч (см.: Греч Н. И. Записки о моей жизни. Л., 1930. С. 687). Вряд ли стоит проявлять к этим показаниям безоговорочное доверие, как это делает С. Н. Дурьин. Они нуждаются в критической проверке.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 105—106. «Желтый Карла» — «Le Nain Jaune, ou Journal des arts, des sciences et de littérature» (1814—1815), после запрещения выходил в Бельгии под названием «Nain Jaune réfugié» — либеральный журнал эпохи реставрации. Им интересовался и Н. И. Тургенев.

Таким образом, именно в момент наивысшего расцвета правительственного либерального славословия Вяземский подошел к той самой мысли, которую год назад сформулировал М. Орлов: «Я признаюсь, что „Северная Почта“ в состоянии меня отвратить и от самого свободомыслия, ежели бы что-нибудь могло уклонить честного человека от полезных занятий»<sup>1</sup>.

Для Орлова это была формула выражения революционного сознания, отгораживающегося от казенного либерализма. Позиция Вяземского была более сложной. Он, действительно, сближался с мировоззрением дворянских революционеров. Это порождало на рубеже 1818—1819 гг. все более отрицательное отношение к правительственному либерализму и возрастающую потребность действий, направленных на освобождение народа. К 1819 г. Вяземский «еще более уверился, что гостиные прения не что иное, как движение языка»<sup>2</sup>.

Вместе с тем та боязнь народа, которая составляла характерный признак дворянской революционности, еще более резко проявлялась в дворянском либерализме 1820-х гг. Однако боязнь народа — это только одна сторона в декабристском отношении к массе. По самой природе дворянской революционности отношение к народу включало протриворечие между боязнью народной активности и все возрастающим на протяжении истории декабристского движения тяготением к народу. На разных этапах развития декабристской идеологии соотношение этих двух элементов менялось, причем второй неизменно усиливался за счет первого. Боязнь народа могла воплощаться в романтическом противопоставлении гения толпе или в гедонистических и аристократических идеях, возникших в конце XVIII в. как своеобразное барское вольтерьянство, или в каких-либо иных идеологических формах — сущность от этого не менялась. Стремление же опереться на народ приводило к росту влияния демократических идей, чаще всего — просветительских идей XVIII в.

Одновременное и протриворечивое, взаимно протриворечующее сочетание этих тенденций и составляло качественное своеобразие дворянской революционности. Пока присутствие демократических идей, чуждых классовым интересам дворянства, не ощутимо в теоретической программе будущих декабристов — дворянской революционности еще не существует; когда же демократические идеи побеждают и совершается полный разрыв с классово-дворянскими элементами сознания — дворянской революционности уже нет, перед нами переход к революционному демократизму.

Вопрос отношения к народу и понимания природы народа является одним из наиболее тонких индикаторов для разграничения дворянского либерализма и дворянской революционности на ранней стадии их развития. Необходимо при этом учитывать, что до известного времени оба явления еще связаны весьма тесно. Поэтому при разграничении их следует рассматривать те или иные отличающие их признаки не только в формах,

<sup>1</sup> Арзамас и арзамасские протоколы. С. 208.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. I. С. 314.

свойственных этому периоду, но и с учетом их грядущей исторической судьбы<sup>1</sup>.

То, что проблема народа, прежде мало волновавшая Вяземского, выдвигается в 1818 г. в его сознании на первый план, свидетельствует об определенной эволюции взглядов. Вместе с тем высказывания 1818 г. говорят о весьма противоречивом отношении к вопросу природы и значения народа. Вяземский испытывает глубокое разочарование в надеждах на возможность прогрессивной правительственной деятельности. Но он опасается и действий народа и поэтому вновь и вновь вынужден обращаться к правительству, которому, в сущности, уже не верит. Весьма интересно проследить, как изменяется постановка вопроса. Вначале в рассуждениях фигурируют два компонента: народ и правительство, причем вся инициатива передается последнему. Затем из понятия «народ» вычленяются «общественность», «общественное мнение», которые противопоставляются правительству. Затем начинает расти интерес к самому народу, делаются первые попытки выделить в его облике те стороны, которые позволили бы говорить о народности «либеральных» идей.

Летом 1818 г. Вяземский пишет по поводу запрещения печатных дебатов о крепостном праве: «Признаюсь, не удивляюсь мерам, принятым полициею. Детям не должно позволять играть ножами: научи их резать, что резать надобно, и тогда с богом. Пока правительство не разрешит: „То be or not to be“ — до того времени не должно касаться иных предметов. Эти à parte всего скучнее в театре и всего опаснее в политике. Для того-то правительство и должно идти всегда навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног»<sup>2</sup>.

В приведенной цитате «общее мнение» еще соединяется в сознании автора с той силой, энергия которой внушает опасения, — с народом. В начале 1819 г. Вяземский побывал в Москве и Петербурге. Ход политических событий все больше раскрывал недвусмысленную реакционность правительственного курса. В Москве его неприятно поразила неподвижность общества барской, «бригадирской» столицы, казалось, замершей в привычках и мнениях екатерининской эпохи. «Что я здесь слышу за толки, что за вести! Как ругают мой „Петербург“! Как ругают „Теорию налогов“! Про меня говорят, что я писал эти стихи по высочайшему повелению и продал свою дворянскую душу за чин и за рескрипт»<sup>3</sup>. После нескольких лет разлуки Вяземский почувствовал себя в Москве Чацким. Он почти с ужасом записывает политические мнения

<sup>1</sup> Необходимо подчеркнуть, что для изучаемой эпохи вопрос отношения к народу гораздо более показателен в этом смысле, чем бунтарство во имя свободы личности. Последнее, порой даже выражаясь в очень резких формулировках, вплоть до призывов к насильственным действиям, все же укладывается в рамки дворянского либерализма, если не сочетает требований свободы личности с интересом к положению народа или не рассматривает самую личность как часть народа, а противопоставляет эти два понятия.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Кн. 1. С. 105.

<sup>3</sup> Там же. С. 180.

московских сановников, их толки о книге Н. И. Тургенева. «Апраксин говорит, что он о налогах не имеет права писать, потому, что он не отделенный сын. И я стал бы жить с этими людьми!»<sup>1</sup>

Зато в Петербурге Вяземский попал в иную атмосферу. Видимо, в это время он соприкоснулся более тесно с определенными кругами Союза Благоденствия. Есть основание полагать, что именно в этот приезд он познакомился с Ф. Глинкой. В одном из первых писем А. И. Тургеневу после возвращения из Петербурга в Варшаву он просит передать «поклон шайке независимых»<sup>2</sup>. Особенно тесно сошелся Вяземский в это время с Пушкиным, бурно сближавшимся с декабристскими воззрениями. Показательно, что именно в это время происходит временный разрыв между Пушкиным и Карамзиным. Видимо, в этот же приезд и Вяземский был настроен к Карамзину значительно более критически.

Есть основания предполагать, что темой совместных бесед Карамзина, Пушкина и Вяземского, предшествовавших созданию знаменитых пушкинских эпилграмм против Карамзина, была деятельность Радищева<sup>3</sup>.

Возвращение Вяземского в феврале 1819 г. в Варшаву совпало со значительным изменением его общественно-политических воззрений. Существенные изменения наступают в самом основном вопросе — отношении к народу. Правда, с одной стороны, народ по-прежнему предстает в облике толпы, не понимающей подвига великого человека. В этом контексте представления демократического крыла просветителей XVIII в. о народе как высшем моральном и политическом авторитете<sup>4</sup> отвергаются с романтическими позицией:

Народ, всех дел людских и цель, и судия,  
То деспот с палицей, то с куклою дитя!<sup>5</sup>

Стихи эти взяты из аполога «Медведь», который Вяземский послал А. И. Тургеневу в письме от 24 июля 1819 г. А 15 августа он процитировал Шамфора: «Сколько глупцов нужно на публику» и повторил с характерным пояснением: «Народ (то есть глупцы) всех наших дел и цель, и судия»<sup>6</sup>. Но все-таки позиция Вяземского не осталась неизменной. В том же самом письме он говорит о народе с иными политическими интонациями. Там, где народ противопоставляется личности, а власти, царям, Вяземский переходит к терминологии и понятиям, идущим от просветителей. Говоря о том, что европейские монархи обманули народы, поднятые ими на борьбу с Наполеоном, он пишет: «Старые уловки! Огопь зажигали, чтобы сжечь дом соседа

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Кн. 1. С. 183.

<sup>2</sup> Там же. С. 198.

<sup>3</sup> Рассмотрению этой проблемы посвящена специальная работа: «Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822)» (в кн.: Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 765—785. — *Ред.*).

<sup>4</sup> «Соборная народа власть есть власть первоначальная, а потому власть высшая», — писал А. Н. Радищев (Полн. собр. соч. Т. 3. С. 10).

<sup>5</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. М.; Л., 1935. С. 412.

<sup>6</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 29.

и обещали ему, чтобы более воспламенить, не тушить, а дать разгуляться по всей улице. Дом соседа сгорел, мсть удовлетворена, огня уже не надобно: ну задувать его! Нет, господа порфиородные гасилы, погодите! Помните свое слово и не ругайтесь огню, и не очень спорьте с ним; огонь вам этот глаза слепит и жжет; вам хотелось бы спать, а он трещит; вам хотелось бы одним сидеть при огне, а народ засадить впотьмах, а теперь и народу становится светло. Что же делать! Зато народ вытащил вас на плечах. Так и быть, уступите ему немного: он теперь требует только необходимого; раздражьте вы его, и станет он требовать лишнего и кончит тем, что силою возьмет»<sup>1</sup>.

Не следует удивляться тому, что Вяземский сам страшится народной инициативы и пугает ею правительство. От этой черты мировоззрения нельзя было освободиться в рамках дворянского либерализма, а до конца — и дворянской революционности. Отметим новое в этой позиции. Дело не только в том, что в столкновении народов и царей симпатии Вяземского на стороне народов. Важнее другое: основным конфликтом эпохи объявляется не столкновение свобододолюбивой личности с деспотизмом, а борьба властей и народов. В этом нельзя не видеть усиления влияния демократических идей и шага от дворянского либерализма к дворянской революционности.

Потребиность личной независимости, как формы проявления свободы человека, у Вяземского не слабеет. Однако теперь она все больше сочетается с вниманием к положению народа. Крепостное право с каждым днем все более привлекает внимание Вяземского и к концу 1819 г. становится для него основной проблемой современности. Не только в первые годы творчества, но и еще в 1816—1817 гг. деревня в поэзии Вяземского неизменно выступала как край обилия и благодати, счастливое прибежище от суеты города и деспотизма вельмож. В этом смысле чрезвычайно характерно стихотворение «Деревья» (1817).

Стихотворение окрашено в тона яркого свободолюбия. Личная независимость — высшее благо. Рабство понимается как зависимость моего «я» от деспотической воли других людей<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 29.

<sup>2</sup> Это чисто карамзинское толкование понятия рабства не только полностью игнорировало существование крепостного права, но и политическую свободу, по сути дела, заменяло личной независимостью. Поэтому политический либерализм 1810—1820-х гг., граница слева с декабризмом, справа же не мог отделить себя от барского фрондерства. Чрезвычайно показательны письмо Вяземского, писанное в апреле 1819 г.: «Для меня секира самовластия ничего: она действует на площади народной, и для того у нас нет жизни народной, общественной; самые государственные люди живут жизнью придворной; но бесят меня эти булавки самовластия, преследующие нас в самых убежищах, где думаем мы укрыться от железной руки правительства, бесит меня эта мелочная попечительность его, которая с глаз меня не спускает ни в кабинете моем, ни за столом приятельским. Я понимаю, что можно привыкнуть к мечу, висящему над головою вечно, но вечно сидеть на иглах невозможно, или черт знает, что надобно иметь за ж..., хуже и бесчувственнее всякой души. Иногда у меня кровь кипит от этих булавок, как в самоваре».

О независимость! Небес первейший дар!  
 Храни в груди моей твой мужественный жар.  
 О пламенник души: к изящному вожатый!  
 Безропотно снесу даров судьбы утраты,  
 Но, разлучась с тобой, остыну к жизни я.  
 Рабу ли дорожить наследством бытия?  
 Пороков жизни раб, корысти ль раб послушный,  
 Раб светских прихотей, иль страсти малодушной,  
 Равно унизил муж свой промысл на земле<sup>1</sup>.

Резко сатирически изображаемому обществу противопоставляется идеал свободной жизни в деревне. Деревенская жизнь трактуется в духе гораццианской поэзии покоя, личной независимости и собственного достоинства. Политическое угнетение — это унижение («...царь земли, как червь, смиренно нижег дол»), свобода — независимость. Подобную трактовку понятий «свобода» и «рабство» мы встречаем и в лицейском варианте пушкинского послания «К Лицинию» (1815).

Первоначально у Пушкина мудрец Дамет бежит от людского общества в пустыню, где надеется найти личную независимость; в позднейшем варианте — это свободолюбец, эмигрирующий из страны деспотизма.

«Дамет! куда, скажи, в одежде столь убогой  
 Среди Рима пышного бредешь своей дорогой?»  
 «Куда? Не знаю сам. Пустыни я ишу,  
 Среди разврата жить уж боле не хочу;  
 Япетовых друзей пороки, злобу вижу,  
 Навек оставлю Рим: я *людства ненавижу*»<sup>2</sup>.

(1815)

«Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!»  
 «Куда: не знаю сам; давно молчу и вижу;  
 Навек оставлю Рим: я *рабство ненавижу*»<sup>3</sup>.

(1819)

Где все на откупе: законы, правота,  
 И жены, и мужья, и честь, и красота...

(1815)

Где все продажное: законы, правота,  
 И консул, и трибун, и честь, и красота.

(1819)

В 1815 г. убежищем от «иародного волнения» мыслится деревня, рисуемая идииллически:

В деревню приедем отеческих пенатов;  
 В тенистой рошице, на берегу морском,  
 Найти нетрудно нам красивый, светлый дом<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 124.

<sup>2</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 112. Курсив мой. — Ю. Л.

<sup>3</sup> Там же. Т. 2. Кн. 1. С. 12. Курсив мой. — Ю. Л.

<sup>4</sup> Там же. Т. 1. С. 112.

Характерно, что в 1819 г. Пушкин почувствовал потребность ослабить идиллический колорит и заменил «тенистые рощицы» на «древние рощи».

Сравнение редакций позволяет установить не только бросающееся в глаза нарастание революционных настроений — меняется само качество протеста. В редакции 1815 г. речь идет только о личной независимости — к 1819 г. личность нуждается в политических правах, а затем возникает вопрос о социальных правах народа. Деревня перестала рисоваться свободным убежищем — она предстала как царство трагических общественных противоречий. Разница в качестве понимания свободы (свобода для личности — свобода для народа) и определила отличие изображения деревни в послании «К Лицинию» и в «Деревне».

Как мы видели, идиллическое изображение сельской жизни не всегда было связано с реакционной помещичьей точкой зрения; в данном случае оно отражало определенный этап развития прогрессивно-дворянской мысли начала XIX в.<sup>1</sup> Герой стихотворения Вяземского «Деревня», как и пушкинского «К Лицинию», уходит из «развратного» города, исполненный жажды свободы и ненависти к низкопоклонству. Его идеалом делается индивидуалистически толкуемый «Руссо, враг общества и человека друг»<sup>2</sup>. Речь идет, конечно, не о консервативно-помещичьем истолковании Руссо как проповедника сельских идиллий. Руссо для Вяземского — писатель-борец:

В руке твоей перо — сраженья острый меч<sup>3</sup>.

Однако сочинения Руссо воспринимаются сквозь призму романтических представлений. Деревня изображается как царство свободы:

Здесь нет цепей, здесь нет господства суеты<sup>4</sup>.

Деревня — «область свободы».

Такой же рисуется она в «Утре на Волге» (1816—1817). Автор говорит здесь о крестьянине с сочувствием, но склонен подчеркивать в его существовании покой, чистую совесть, выгоды трудовой жизни:

Природы сын трудолюбивый,  
Сын непорочной тишины,  
Вверяет пахарь недрам нивы  
Богатства будущей весны<sup>5</sup>.

Ему противопоставляется

Беглец природы, раб пристрастья,  
Постыдный данник суеты<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Идеализация сельской жизни возможна была в те годы и с другой, недворянской позиции. См.: Лотман Ю. М. Мерзляков как поэт // Мерзляков А. Ф. Избр. стихотворения. Л., 1956. С. 45.

<sup>2</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 127.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же. С. 123.

<sup>5</sup> Там же. С. 120.

<sup>6</sup> Там же. С. 121.

В 1818 г. Вяземский, как мы видели, проделал большую политическую эволюцию. Его свободолюбие оформилось, политические воззрения получили определенность. По своим воззрениям он — конституционалист. Критика деспотизма делается не только острее, но и политически конкретнее. Все это отразилось в стихотворении «Петербург». Вместе с общим измененным взглядом в новом освещении предстал и крестьянин:

Несчастный раб земли, отторгнутый от братья<sup>1</sup>.

Слово «раб» заполнилось новым, социальным содержанием. Однако крепостное право еще не стоит в центре внимания Вяземского — в обширном, насыщенном политическим материалом стихотворении в 138 стихов он посвятил ему лишь две строки.

Показательно, что в 1819 г., переделывая стихотворение, автор изменил и расширил именно эту часть. В письме А. И. Тургеневу читаем: «Теперь сию над своим „Петербургом“. Вот что я говорю о свободе земледельца, вместо двух сухих стихов прежних:

С чела оратая сотрется пот неволи,  
Природы старший сын, ближайший братьев друг,  
Свободно проведет в полях наследный плуг,  
И светлых нив простор, приют свободы мирной,  
Не будет для него темницею обширной»<sup>2</sup>.

Теперь изображение сельской жизни совпадает по концепции с «Деревней» Пушкина. Вяземский сам выразил сущность нового изображения деревни: «Нельзя ничего вообразить ужаснее. Поля почитаются святилищем свободы: теснимый в обществе идет к ним расходиться; земледелец наш именно тут и находит неволю. Противоположность разительная!»<sup>3</sup>

Новые воззрения Вяземского привели к изменению литературных симпатий. В поле внимания писателя появляется новое имя — Радищев. В 1819 г. в Петербурге Вяземский беседует о Радищеве с Пушкиным и Карамзиным. Еще в конце 1818 г. он заинтересовался творчеством Радищева и начал собирать материалы, надеясь посвятить автору «Путешествия» специальный биографический очерк. В письме Воейкову от 2/14 ноября 1818 г. из Варшавы он писал: «В переписке ли ты с Радищевым? Мне помнится, что ты ему хороший приятель. У меня рука чешется кое-что написать о его отце. Нельзя ли выпросить материалов и списка знаменитого „Путешествия“ и оды? Сочинения его у Бекетова напечатанные — со мною, но нет ли чего-нибудь неизданного, а более всего известия о жизни и пребывании его в Сибири? Этот кусок очень мне по вкусу, слюнки текут, не худо бы и тебе запрятать его в свою поэму. <...> У нас обыкновенно человек невидим за писателем. В Радищеве напротив: писатель приходится по плечу, а человек его головою выше. О таких людях приятно писать, потому, что мыслить можно»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 141.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 277—278.

<sup>3</sup> Там же. С. 278.

<sup>4</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1234. Л. 4—4 об.



В 1820 г. Вяземский назвал Радищева в своем «Послании к М. Т. Каченовскому»:

От Кяхты до Афин, от Лужников до Рима  
 Вражда к достоинству была непримирима,  
 Она в позор желез от почестей двора  
 Свергает Миниха, сподвижника Петра,  
 И, обольщая ум Екатерины пылкой,  
 Радищева она казнит почетной ссылкой.

И если упоминание Афин и Рима — литературная условность, то Лужники и Кяхта имели вполне конкретный смысл. Первое напоминало о Каченовском как враге просвещения, второе — о судьбе ссыльного Радищева (Радищев в Илимске написал «Письмо о китайском торге», посвященное экономическому значению Кяхты).

Имя Радищева, видимо, вспоминалось в варшавском кружке Вяземского. По крайней мере, один из членов этого кружка, Фовицкий, в разборе стихотворения «Негодование» писал Вяземскому: «Волос дыбом становится! Смотрите, не забывайте Радищева!»<sup>1</sup> Не следует забывать, конечно, что борьба с крепостным правом понимается Вяземским не в духе Радищева. Ему гораздо ближе легальная сторона деятельности членов Союза Благоденствия по пропаганде антикрепостнических идей и организации общественного протеста против крепостничества. Это проявилось в его участии в деле освобождения крепостного поэта Сибирякова.

Узнав о деле Сибирякова, Вяземский с большой горячностью принял в нем участие. Он вошел в сношение с Ф. Глинкой и Н. Тургеневым — организаторами выкупа. Совершенно в духе своих соратников по этому делу, он хотел не только выкупить крепостного интеллигента, но и сделать его историей достоянием общественности, предать Маслова — помещика Сибирякова, запросившего непомерно высокий выкуп, — «костру общего мнения»<sup>2</sup>. За кампанией вокруг дела Сибирякова, в которую были вовлечены Ф. Глинка, Н. и А. Тургеневы, Вяземский, Пушкин, чувствуется рука Союза Благоденствия<sup>3</sup>. Ф. Глинка и Вяземский написали по этому случаю стихи, Пушкин порывался сделать то же, но жаловался, что Вяземский «отнял у него такой богатый сюжет». Стихотворение Вяземского вызвало одобрение Н. Тургенева.

Среди действий Вяземского по практической борьбе с крепостничеством не последнее место занимает попытка организации общества для гласного обсуждения путей ликвидации крепостного права. Значение Вяземского как инициатора подачи прошения царю и фактическая сторона истории этой попытки была рассмотрена Н. К. Кульманом<sup>4</sup>. Однако общее истолкование

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 40.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 289.

<sup>3</sup> См.: *Базанов В.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949. С. 112—113.

<sup>4</sup> См.: *Кульман Н. К.* Из истории общественного движения в России в царствование императора Александра I. СПб., 1908.

этого эпизода в указанной статье явно ложное, вытекающее из общей либеральной позиции автора. Для него весь конфликт — столкновение «юной политической мысли и пылкого общественного чувства» маленькой группы идеалистов, мечтавших уничтожить рабство, с «мировоззрением, воспитанным вековым укладом русской жизни»<sup>1</sup>.

Между тем ясно, что эпизод 1820 г. связан гораздо более органично с развитием политической борьбы в России тех лет. Здесь Вяземский снова соединил свое имя с той широкой и разносторонней программой пропаганды в обществе и давления на правительство, которая осуществлялась Союзом Благоденствия.

Фактическая сторона дела рисуется так: мысль об организации общества, которое могло бы взять на себя инициативу обсуждения крестьянской реформы, пришла Вяземскому, видимо, еще осенью 1818 г. Тогда же возникла идея комитета, с участием «особ либеральных и библейских»<sup>2</sup>. Показательно, что завершить освобождение Вяземский предполагал через десять лет, то есть приблизительно в те же сроки, что и Н. Тургенев, рассчитывавший в 1816 г. закончить раскрепощение через пятнадцать лет.

Письмо Вяземского к Карамзину с изложением его первоначальной идеи до нас не дошло, и содержание его нам известно лишь по ответу Карамзина. В эту пору Вяземский, по всей видимости, рассчитывал на поддержку Карамзина. Последний заявил, что «готов следовать хорошему примеру, если овцы будут целы и волки сыты»<sup>3</sup>.

Однако Вяземскому нужно было не пассивное сочувствие, а имя, которое придало бы идее вес в глазах правительства и общества. Подвигнуть на это Карамзина не удалось. Еще по поводу Сибирякова у А. И. Тургенева и Вяземского произошли знаменательные разногласия. Вяземский хотел придать делу общий смысл и превратить его в обсуждение вопроса крепостничества вообще. А. И. Тургенев возражал, считая, что инициатива в подобном действии должна принадлежать правительству. Однако Вяземский с ним не согласился, считая, что правительство может быть исполнителем освобождения, однако инициатором его должна стать передовая общественность. «Отвечаю на твой запрос: конечно, нам открывать такого рода прения. Действовать должно нравственной, а не физической силой; а с которой стороны у нас сила нравственная?»<sup>4</sup>

В новую стадию дело вступило после пребывания проездом в Варшаве С. И. Тургенева. Встретив поддержку со стороны младшего Тургенева, Вяземский начал действовать. Первым его шагом было намерение привлечь к участию Н. Тургенева и М. Орлова. М. Орлову Вяземский писал: «Я долго думал о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле упорной и нам сопротивляющейся, и нашел однако: заняться теорети-

<sup>1</sup> См.: *Кульман Н. К.* Из истории общественного движения в России в царствование императора Александра I. С. 22—23.

<sup>2</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 65.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. I. С. 310.

ческим образом задачею уничтожения рабства. Составить общество, в коем запрос сей разберется со всех сторон и в пользу всех мнений (разумеется, истинна будет на нашей стороне), после того <...> пустить его в ход»<sup>1</sup>.

Письмо к Н. И. Тургеневу говорит о полном единодушии. Н. Тургенев и Вяземский предстают перед нами как единомышленники. Они «повстречались» «на дороге, которая ведет к великой мечте — освобождению крестьян». «Прекрасно будет для нас, если мы призваны быть путеводителями к обетованному берегу великого народа!»<sup>2</sup>

Таким образом, перед нами — характерная картина. Идея Вяземского не встретила поддержки со стороны его старых друзей — карамзинистов. Разумеется, ни Карамзин, ни А. И. Тургенев, ни В. А. Жуковский, отпустивший на волю в 1818 г. своих крестьян, не были настолько чужды духу времени, чтобы в 1818—1820 гг. возражать против освобождения. Возникновение тайного движения мощно революционизировало общество. Отраженный свет этого падал и на них в те годы. Однако первая же попытка привлечь их к *активной* общественной деятельности обнаружила глубокую общественную пассивность карамзинистов. В лучшем случае можно было рассчитывать на их поддержку при удаче дела. Зато как только Вяземский нащупал связь с деятелями тайного общества, у идеи мгновенно появились не только энтузиастические сторонники, но и практические защитники. Дело получило ход. Попытку Вяземского — Н. Тургенева в 1820 г. нельзя рассматривать изолированно от всей цепи мероприятий Союза Благоденствия по пропаганде идеи освобождения и широкому давлению на правительство с целью вырвать крестьянскую волю.

Пока Н. Тургенев в Петербурге работал над текстом обращения к царю, Вяземский в Варшаве написал программу действий комитета. Программа была составлена в форме письма к А. И. Тургеневу и поэтому позднее опубликована во втором томе Остафьевского архива. Однако значение документа шире — он использовался как пропагандистский материал. С пропуском всего, касающегося лично до А. И. Тургенева, оно переписывалось для распространения<sup>3</sup>.

Политическая позиция Вяземского в этом документе очень ясна. Он исходит из убеждения в том, что крепостное право должно быть уничтожено: «Рабство — на теле государства Российского нарост; не закидывая взоров в даль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию»<sup>4</sup>. Можно полагать, что безземельное освобождение не удовлетворяло Вяземского. Говоря об условиях освобождения в Польше, он писал Н. И. Тургеневу: «Здесь меры послужат нам скорее остерегательными маяками, чем путеводительными знаками»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 25.

<sup>2</sup> Архив бр. Тургеневых. Вып. 6. С. 4.

<sup>3</sup> См. подобную копию в Рукописном собрании ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых. № 2422.

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 16.

<sup>5</sup> Архив бр. Тургеневых. Вып. 6. С. 4.

Самым сложным был вопрос о том, кто выступит инициатором освобождения. Вяземский боится народной революции: «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы»<sup>1</sup>. Вместе с тем нет доверия и правительству. Слабые надежды на прогрессивные намерения власти давно уже исчезли. Теперь речь идет о том, чтобы дворянская общественность вынудила правительство действовать: «Правительство не даст ни ответа, ни привета». И далее: «Правительство наше играет всегда в молчанку»<sup>2</sup>.

Среди прочих тактических приемов Союза Благоденствия имели место и попытки воздействовать на видных военных и государственных деятелей. Фрондирующие вельможи окружались участниками тайных обществ, которые вступали с ними в близкие дружеские отношения и, оставаясь в тени, исподволь руководили их действиями на политической арене. Видные государственные деятели (такие, как, например, Милорадович в Петербурге, Репнин в Полтаве) оказывались на положении ведомых, скрытые же пружины их общественных действий оставались за кулисами. Тем более любопытно, в обществе, организованном в 1820 г. для давления на правительство с целью освобождения крестьян, Вяземский не оказался в числе «вельмож», чьими руками хотели осуществить, вполне в духе Союза Благоденствия, давление на царя, а вместе с членом Союза Благоденствия Н. Тургеневым выполнял роль скрытого за кулисами инициатора.

Сущность подобного тактического приема для Вяземского не была секретом. Он писал Н. Тургеневу: «В России, при теперешнем положении, одно средство пустить в ход эту мысль: завербовать несколько высокопревосходительств и разноцветных чупятовых; нам, молокососам, можно все поставить вверх дном скорее, чем где-нибудь, но языком умеренности и рассудительности ничего путного не сделаем»<sup>3</sup>.

В приведенной цитате показательно четкое разграничение тактических средств: там, где речь идет о действиях в обществе, — необходимы «молокососы» вроде Вяземского и Тургенева, тогда же, когда речь идет о давлении на правительство, — необходимы «чупятовы».

Характерно и то, как настойчиво отгораживал Вяземский себя от аристократии (хотя и по рождению, и по связям, и по состоянию ему, конечно, «естественнее» было бы находиться в компании придворных вельмож, чем «мятежного драгомаиа» — по характеристике Пушкина — Н. И. Тургенева). Он писал: «В собирательном смысле я, кажется, знаю наших вельмож; в расчете личном хвастаюсь тем, что почти никого не знаю»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 16.

<sup>2</sup> Там же С. 15—16.

<sup>3</sup> Архив бр. Тургеневых. Вып. 6. С. 4.

<sup>4</sup> Там же. С. 4.

В научной литературе встречается утверждение, что подбор вельмож в обществе 1820 г. был случайным. С этим согласиться нельзя: кандидатуры, видимо, отбирались довольно тщательно.

А. С. Меншиков был лицом, в равной степени известным и Н. Тургеневу, и Вяземскому. Он был членом Ордена Русских Рыцарей. После окончания наполеоновских войн в Дрездене он входил в кружок М. Н. Новикова и С. Тургенева. На это указывает место из письма Н. Тургенева Сергею Ивановичу: «Приехавший сюда к <нязь> Меншиков сказывал нам, что видел тебя в Дрездене. Он был там принят в \*\*»<sup>1</sup>. Есть и другие свидетельства участия Меншикова в дрезденской ложе<sup>2</sup>. Между тем мастером этой ложи был М. Н. Новиков. К этому времени, видимо, восходят истоки сближения Меншикова с Орденом Русских Рыцарей. Показательно, что заграничные связи С. Тургенева также переплетаются с этой группой.

Вяземский, видимо, познакомился с Меншиковым в 1818 г., когда последний приезжал флигель-адъютантом в свите царя в Варшаву. Вяземский выделил его из числа царедворцев, считая всех прочих спутников царя отмеченными печатью ничтожества.

Не был случайным лицом в обществе и М. С. Воронцов: С. И. Тургенев сближился с ним во время своего пребывания в Мобеже. Через М. С. Воронцова С. Тургенев осуществлял свою работу по заведению в заграничном корпусе ланкастерских школ, по уничтожению телесных наказаний. Дневник С. Тургенева показывает, что он рассматривал, явно не без сочувствия Воронцова, заграничный корпус как опытное поле для преобразований, которые потом распространятся на всю русскую армию<sup>3</sup>.

Заручившись такой поддержкой во вновь организуемом обществе, Вяземский и Н. Тургенев могли, казалось, рассчитывать на успех<sup>4</sup>.

Однако реальный ход событий не оправдал их надежд. Документы, имеющиеся в распоряжении исследователя, не позволяют представить все детали

<sup>1</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 273.

<sup>2</sup> Русская старина. 1907. Кн. 6. С. 665.

<sup>3</sup> «Надобны опыты — испытайте, делайте опыты в управленин — в Варшаве, в армин — в корпусе во Францин» (ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых. № 25. Л. 66).

<sup>4</sup> Н. И. Тургенев писал 11 мая 1820 г.: «На сих днях и я был у гр<афа> Воронцова, и он мне чрезвычайно поинтересился и потому уже, что понимает и чувствует вещь так, как должно. Жаль, что он не долго здесь пробудет. Он мог бы быть начинщиком улучшения участи крестьян. И теперь главная надежда на него. К тому же с ним одним можно говорить здесь об этом, так чтобы обе стороны понимали друг друга. Что касается до других, то им падобно еще толковать и доказывать, что рабство несправедливо и что крестьяне не могут вечно оставаться крепостными» (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 302). Этим отчасти объясняется то, что позже, в момент своего столкновения с Воронцовым, Пушкин встретил упорное непонимание и неодобрение со стороны друзей — Тургеневых и Вяземского.

После неудачи коллективного прошения Воронцов и Меншиков выступили с новой «либеральной» инициативой: они организовали между Петербургом и Москвой сообщенье дилижансом. Цель была, конечно, не коммерческая. Дилижанс должен был «сближать сословия» и приучать к практическому усвоению «европейских» идей. Н. Тургенев поехал дилижансом в 1821 г. на съезд Союза Благоденствия.

борьбы вокруг коллективного требования группы видных вельмож открыть прения по вопросу о ликвидации крепостной зависимости. Н. К. Кульман доказывал, что В. Н. Каразин не имел к этому проекту никакого отношения, замышляя в то же время какой-то другой общественный комитет. Однако с полным основанием В. Г. Базанов оспорил это утверждение. Действительно, материалы, хранящиеся в ЦГИАЛ, неопровержимо доказывают, что на первых порах Каразину удалось втереться в доверие к Вяземскому, Воронцову и Меншикову. Видимо, первоначальное знакомство Вяземского и Воронцова состоялось при посредстве Каразина<sup>1</sup>. На это указывает копия с записки Вяземского, сохранившаяся в бумагах Каразина (вернее, в копиях с них, снятых при аресте последнего): «За большую честь себе поставлю быть знакомому г<рафу> М<ихаилу> С<емеиновичу>; насчет отличных качеств уже давно предуведомлен. Желал бы, чтобы его сиятельство позволил мне его предуведомить и если можете, то наиубедительнейше прошу Вас взять меня с собою, испрося наперед позволение от графа»<sup>2</sup>. Вяземский вполне доверялся Каразину и посвящал его в свои сокровенные проекты. Так, в архиве Каразина хранилось письмо Вяземского Александру I, приложенное при предназначавшемся для вручения царю труде «Теория закона». Возможно, передача состоялась во время свидания Вяземского с царем тогда же, весной 1820 г., в Елагинском дворце. Однако текст этого труда нам неизвестен. Вряд ли можно предположить, чтобы Вяземский так называл Государственную уставную грамоту<sup>3</sup>.

Однако скоро Каразин начал возбуждать подозрения. Вероятно, прав В. Г. Базанов, предположивший, что предупреждение могло исходить от Ф. Глинки. По крайней мере, уже к концу мая от Каразина явно стараются избавиться. 25 мая 1820 г. порвал с Каразиним Воронцов, мотивировав свои действия несогласием с каразинским пониманием целей общества:

«Вы хотите: 1) Учредить общество и управляющий комитет оного, я же полагаю, что ни общества, ни комитета тут не нужно.

2) Вы желаете заняться более положением правил в управлении крестьян и в управлении их повинностей, а об освобождении от рабства и не говорите как разе самым тайным и отдаленным образом. Я же полагаю, что не нужно

<sup>1</sup> Каразин был заинтересован в том, чтобы предстать перед Вяземским «нужным» и «осведомленным» человеком. В сущности же его посредничество было излишнее: Вяземский вполне мог познакомиться с Воронцовым через Тургеневых, именно в эту пору очень сблизившихся с бывшим начальником их младшего брата (см.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 302—308).

<sup>2</sup> РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Ед. хр. 3249. Л. 6 об.—7.

<sup>3</sup> Текст записки таков (дошла в копии): «Государству закон, что кораблю компас, которого не прикасается кормчий, но по нем надежно и спокойно направляет плавание свое к общему благополучию, которого ни кровавые подвиги полководцев, ни любостыжательные вымыслы министров, ни суетные прения парламентов доставить не могут; а может даровать народам своим единая монарха праведная воля. Сей спасительной воле вашего величества повергает следующую при сем «Теорию закона», на которой основано государственное управление с глубочайшим благоговением» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Ед. хр. 3250. Л. 19).

и не стоит того заниматься другим, как изысканием способов к достижению сего предмета, что тайным образом делать нельзя и не нужно»<sup>1</sup>.

4 июня письменно порвал с Каразиным и Меншиков<sup>2</sup>.

Однако эти попытки избавиться от правительственного соглашения внутри только что возникшего общества были уже запоздалыми — 1 июня Н. Тургенев зафиксировал в дневнике отказ Васильчикова от участия в подписке. Новая подписка также не дала ощутимых результатов.

Вяземский получил наглядный урок иллюзорности надежд на тактику давления на правительство. Это были те же иллюзии, изживание которых происходило в начале 1820-х гг. у большинства членов Союза Благоденствия. «Злоупотребления режутся на меду, а добрые замыслы пишутся на песке», — горько резюмировал он в письме к С. И. Тургеневу итоги своих петербургских попыток<sup>3</sup>.

Лето и осень 1820 г. — время быстрой радикализации воззрений Вяземского. Если он и прежде считал, что интересы правительств и народов различны, то теперь он убеждается в их противоположности. Если еще недавно, следуя теориям Бенжамена Констана и наблюдая балансирование французского короля между ультрароялистами и левыми группировками, Вяземский был склонен считать власть монархов нейтральной силой, на которую порой можно и опереться в борьбе с реакцией, то теперь для него именно монархи возглавляют реакционный лагерь. Характеризуя отношения правительства и передовой общественности, которые еще несколько месяцев назад рисовались как соотношение ведомого, исподволь направляемого и тайных пружин его движения, Вяземский пишет в сентябре 1820 г.: «Нет общего языка. Мы их считаем дураками, они нас головорезами, и все тронулось с места, все взволновано. Например, я уверен, что не исповедание государя в политическом отношении одержит господство в Европе <...> Вот в чем дело: принимать ли обстоятельства (речь идет о революционном подъеме 1820 г. — Ю. Л.) за стихию, против которой бороться нельзя, или за случайное поветрие? Я в них вижу стихию и готов сказать: „Умейте плавать, умеете летать, умеете обжигаться, или вы погибнете“. Они говорят: „Это случай“ и кидаются затыкать, тушить и запруживать. И все будут в дураках, помани мое слово»<sup>4</sup>.

Разумеется, не только и, вероятно, не столько эпизод с неудачным обращением к царю был причиной изменения взглядов Вяземского. Весна, лето, осень 1820 г. — время общей радикализации политических настроений в передовой части русского общества. Это проявилось не только в переходе Союза Благоденствия к республиканским установкам<sup>5</sup>, но и в изменении настроений кругов, составлявших периферию Союза Благоденствия.

<sup>1</sup> РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Ед. хр. 3246. Л. 16—16 об.

<sup>2</sup> Там же. Л. 2—3.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 40.

<sup>4</sup> Там же. С. 59.

<sup>5</sup> Подробный анализ см.: Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. Гл. 7. Здесь же дан обзор исторических причин, обусловивших общественные настроения 1820 г. Во избежание повторений, отсылаем читателя к указанному исследованию.

Подъем тираноборческих настроений пережили в это время Чаадаев и Дельвиг, резко изменилась политическая ориентация Пушкина<sup>1</sup>.

События 1820 г., революции в Неаполе, Испании, Португалии не только повлияли на решение Вяземским общих политических вопросов, но и заставили его пересмотреть свое отношение к тактике борьбы с реакцией.

Устойчивая черта тактической позиции Вяземского состояла в боязни и реакции и народа одновременно. Это заставляло его не доверять правительству, и в то же самое время он не мог допустить исторического прогресса, развивающегося мимо правителей, через их головы и вопреки их намерениям, то есть революционным путем.

К исходу 1819 г. он убедился, что передовой общественности необходимо избрать или союз с народом, или союз с властью, и в горьком недоумении остановился перед этой дилеммой. В начале 1820 г. он писал С. И. Тургеневу: «Я не меньше опасаясь министерских ножниц, которые часто режут вкривь и вкось, чем топора черни, который всегда бьет слишком сильно»<sup>2</sup>.

До определенного времени еще можно было надеяться на некий прогрессивный, но не революционный путь развития. «Революционисты должны падать, либералисты устоять», — сформулировал он эту мысль в середине 1819 г.<sup>3</sup>

Однако отношение к революции в сознании прогрессивного либерала конца 1810-х гг. не ограничивалось прямолинейным отрицанием. В гораздо большей степени, чем декабристы, боясь народной инициативы, он вместе с тем признавал ее полезные стороны, постоянно возвращался к ней в своих мыслях, и чем более тускнела вера в правительство, тем более упорными делались поиски таких форм революционного взрыва, которые не напоминали бы крестьянский топор «пугачевщины».

Уже в 1818 г. Вяземский выразил то отношение к французской революции, которое было характерно для Бенжамена Констан и других французских «либералов» тех лет: революция не оправдывается — особенно в своей якобинской стадии, — но плоды революции благи. Уничтожение феодализма и демократические свободы вошли после нее в сознание и историю французов как непреложные истины. «Либералисты» XIX в., не принимая революцион,

<sup>1</sup> Нам представляется сомнительной традиционная датировка «Сказок» (Noël) 1818 г. Внимательное изучение общественных настроений 1818 г. исключает возможность столь резкого осуждения варшавской речи царя. Вместе с тем международный курс Александра I в 1818 г. можно было считать нереалистичным, но называть царя пособником реакционной Австрии было еще невозможно. Более того, в ту пору русский император был на международных конгрессах единственным монархом, старавшимся сохранить в качестве дипломатического принципа не лишнюю туманного либерализма доктрину 1815 г. Капитуляция перед Меттернихом произошла в Троппау-Лайбахе. Она же была временем окончательного падения авторитета Александра I и возрождения идеи его убийства в кругах тайных обществ. После конгресса 1820 г. Александра I действительно можно было назвать клеветником Австрии и Пруссии («пруссский и австрийский я сшил себе мундир»).

<sup>2</sup> Архив бр. Тургеневых. Вып. 6. С. 3. Подлинник на французском.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 274.



призваны пожать ее плоды. «Да здравствует XIX-ый век, несмотря на все, что о нем говорят! И именно санкюлотам мы обязаны нашими широкими панталонами. Проклинать французскую революцию в настоящее время — это проклинать в Египте разливы Нила. Бесспорно, те, кто находился на берегу, по меньшей мере, порядком промочили ноги, но что за богатая жатва для тех, кто явился впоследствии»<sup>1</sup>.

В этом колебании между признанием и боязнью — специфика позиции Вяземского. Однако интерес к революции (в историческом и политическом смысле) все время растет. И в 1819 г. — в то самое время, когда, как мы видели, обнаруживается интерес к Радищеву, — в письме к А. И. Тургеневу Вяземский признается: «Я по горло во французской революции»<sup>2</sup>.

Политические новости весны и лета 1820 г. давали богатый материал для размышлений на этот счет. Европейские события 1820 г. выдвинули новую проблему — военную революцию. Вяземский внимательно следит за новостями из Испании, Италии, Португалии, выписывает, через путешествующего Жуковского, из Берлина «лучшую карту Италии»<sup>3</sup>, своей рукой переписывает поступающие в Варшаву новости из Неаполя, видимо для рассылки друзьям<sup>4</sup>. Однако как только Вяземский примерял европейский опыт к русским условиям, его охватывали сомнения.

В письме Н. И. Тургеневу от 27 марта 1820 г. Вяземский писал: «Я за Гишпанию рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей, без содействия самой власти все будет Пугачевщина»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Остафьевский архив. С. 166.

<sup>2</sup> Там же. С. 378.

<sup>3</sup> Архив ИРЛИ. 27985/СС. 1 б. 44. Л. 4.

<sup>4</sup> В ОР РНБ хранится написанное его рукой извлечение из французских газет под заглавием «Венские известия о делах неапольских от 29-го июля н. стилия» (Архив П. А. Вяземского. Ед. хр. 12).

<sup>5</sup> Цит. по копии, хранящейся в ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского. Ед. хр. 36 (листы не нумерованы). Говоря о «ком-нибудь из наших», Вяземский, видимо, намекает на М. Орлова. Политические настроения Орлова и его готовность к решительным действиям Вяземскому, конечно, были известны из многочисленных личных бесед. Несколько месяцев спустя, 23 июня 1820 г., Орлов в письме, говоря о своем назначении командиром дивизии, обмолвился: «Какая бы разница, ежели б я получил дивизию в Нижнем Новгороде или Ярославле» (Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 30). Если учесть настроения Орлова 1820 г. и то, что в Кишинев он прибыл с уже готовым планом превращения дивизии в революционную часть, смысл жалобы достаточно прозрачен: иметь в своем распоряжении преданную, подготовленную дивизию на расстоянии нескольких переходов от Москвы или в Нижнем, откуда Минин и Пожарский начали освободительный поход (вспомним, что Пестель хотел сделать Нижний Новгород столицей), значило гораздо больше для создания плана немедленной революции, чем иметь дивизию на Днестре. И все же Орлов и в последнем случае предложил в 1821 г. немедленную революцию. Ясно, что при возникновении военного восстания в Ярославле или Нижнем Новгороде наличие в руках восставших укрепленного лагеря под Москвой — Дубровиц Мамонова — могло бы сильно способствовать успеху дела.

В этом смысле настоящий переворот в сознании Вяземского произвели события в Семеновском полку.

Вяземский оказался сразу же втянутым в обсуждение происходящего. Дело в том, что, видимо, не без участия петербургских членов Союза Благоденствия были приняты меры к тому, чтобы власти получили информацию, изложенную в благоприятном для солдат-семеновцев свете. Трудно сказать, делалось ли это по единому продуманному плану, но система энергичных и целенаправленных действий налицо. Вряд ли случайностью явилось то, что с донесением к Александру I был направлен Чаадаев. Вместе с тем по свежим следам событий А. И. Тургенев пишет для Вяземского обширное письмо с изложением событий в самом благоприятном для солдат свете. Вся ответственность за беспорядки возложена на Шварца. При этом, хотя письмо имеет гриф: «Тебе одному», А. И. Тургенев прямо указывает Вяземскому на употребление, которое нужно из него сделать. «Скажи об этом Новосильцову и еще немногим <...> Я уверен, что государь быстрее и вернее своих генералов рассудит, но надобно, чтобы истина была ему во всем блеске открыта, надобно, чтобы первые происшествия объяснены были строго и верно»<sup>1</sup>. Можно предположить, что отправление этого письма было согласовано с Н. Тургеневым. Вяземский правильно понял, чего от него ждут: он составил из письма Тургенева выписку, которую представил Новосильцеву, а через него великому князю Константину. Он продолжил в Варшаве то, что Чаадаев делал в Троппау. Правда, надежда расположить царя и присных в пользу семеновцев оказалась тщетной, но тем сильнее было разоблачение правительства в глазах передовой общественности.

Необходимо заметить, что с этим эпизодом связана неточность в статье С. Н. Дурылина. В бумагах Новосильцева была обнаружена адресованная Константину Павловичу записка: «Я имею счастье передать при сем вашему императорскому высочеству извлечение из письма г. Тургенева князю Вяземскому относительно событий, имевших место в С.-Петербурге в казарме гвардии. Я отвечаю за точность этого извлечения»<sup>2</sup>.

Перепечатывая эту заметку из «Русского архива», С. Н. Дурылин снабдил ее комментарием: «Новосильцев был последователен, когда читал всю переписку Вяземского, подозревавшего, что ее где-то читают, но не думавшего, что ее читают так близко от него»<sup>3</sup>.

Возможно, переписку Вяземского и читали (никаких прямых доказательств этому мы не имеем), однако в данном случае речь идет о письме, которое довел до сведения правительственных сфер сам адресат. Это точно устанавливается из письма А. И. Тургеневу от 31 октября 1820 г.: «В разговорах Николая Николаевича Новосильцова с великим князем о петербургском происшествии и о толках, которые оно породит, Николай Николаевич упомянул о письме твоём, как о писанном в духе умеренности. Великий князь захотел его видеть, и сейчас сделал я своеручную выписку из повествова-

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 91.

<sup>2</sup> Русский архив. 1909. № 6. С. 259. Подлинник на французском.

<sup>3</sup> Кутанов Н. Декабрист без декабря. С. 209.

тельной части твоего письма, Новосильцовым скрепленную для представления его высочеству»<sup>1</sup>.

Однако события в Семеновском полку взволновали Вяземского не только необходимостью практических (оказавшихся тщетными) действий для спасения семеновцев. Гораздо значительнее был теоретический вопрос, вставший перед ним в эти дни. Главным, что отпугивало его от революции, даже от военной по образцу испанской, была боязнь «пугачевщины», неверие в способность солдат выступить организованно. С другой стороны, он ясно осознавал, что сила правительства состоит в штыках солдат. Правительство не имеет никакого морального авторитета.

«Наполеон, ополченный богатырской решимостью в достижении цели своей, не краснеющим лбом встречал все преграды, противопоставленные ему истиною, и шлагою несокрушимого запечатлевал свои политические парадоксы. Но мы, которые утра свои проводим в манежах и на парадных площадях, которые хотим слыть либералами при женских туалетах и деспотами перед миллионами штыков, которые не имеем ни одной мысли, а много лишних солдат, что, кроме стыда настоящего и бледного, но многими пятнами обозначенного листа в истории ожидает нас в награду за двуличное поведение и за всегда зыблющееся направление мыслей и правил?»<sup>2</sup>

Размышления над событиями в Семеновском полку в значительной мере приблизили Вяземского к идее военной революции, почти разрушив тонкую преграду, отделявшую его от декабристских настроений осени 1820 г. Новые воззрения его выразились в чрезвычайно любопытном документе, написанном в форме письма, но явно предназначенном для общественного распространения. В этом смысле показательна помета в конце «продолжение впредь», прямо ведущая к традиции газетно-журнальной, а не эпистолярной прозы. Существовало ли такое «продолжение» в самом деле, нам не известно. Ввиду важности этого документа приводим его текст<sup>3</sup>.

«Благоговею перед этою поучительною рукою Провидения, которая поражает высокомерие в самую ее крепость. Не крестьяне, брошенные на произвол алчности помещиков, не мы, бедная шляхта, оплеванная, пресыщенная уничижительным презрением, уничтоженная, явно обращенная в подножие блестящего колоса воинственного, напоминает уму надменному, что есть предел терпению, граница нравственным безобразностям! Нет! Этот голос пробудительный грянул из уст тех самых, для конх все было принесено в жертву. Не знаю, как Вы смотрите на это вблизи, но в отдаленности мне

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 96.

<sup>2</sup> Там же. С. 166.

<sup>3</sup> Текст представляет чистовую рукопись, автограф П. А. Вяземского. Не датирован, но по смыслу и по некоторым текстуальным совпадениям с письмами октября — ноября 1820 г. датируется этим временем. Хранится в ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского. Ед. хр. 13. Мое внимание на этот документ обратил С. С. Ланда, которому пользуюсь случаем выразить живейшую благодарность. Мы рассматриваем этот интереснейший документ в связи с проблемами, затронутыми в настоящей работе. Восторженно комментированное издание его подготовлено к печати М. И. Гиллельсоном.

кажется это одним из важнейших событий нашего времени. Эта русская строка современной истории по мне плодovitее страниц Гишпанской в Неапольской. Это стих пророка, беременный грядущим. Зародыш в минуту образования своего ничем не сказывается: но придет час разрешений. Дева самовластия проломлена. Держите ее под замками, прячьте от взоров людей, от самого наития воздуха, если хотите: ничто не поможет. Посвященные слышали глас архангела: благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших! Но Вы теперь ответчик пред Богом, наблюдайте прилежно за беременностью этою. От Ваших попечений зависит теперь, каким быть родам: счастливым или злосчастливым, насильственным или естественным. Это такой удар судьбы, что чем более прислушиваешься, тем звучнее, тем шире он раздастся. Мы, если и воображали когда русский мятеж, то вооруженного топором, восплаемого пьянством и грабежом, разбивающего кабаки, но вдруг видеть мятеж хладнокровный, на душе своей положивший намерение достигнуть цели твердостью и спокойствием и в ком же, не в людях, которые, так сказать, поступают в глазах Европы и потомства и взявши умеренность себе за правило более по расчетам рассудка, но в людях, ничего не обдумавших, никакого влияния не желающих, никакой строки ни в газетах, ни в истории не требующих, а решивших просто единственно свергнуть иго [которое]<sup>1</sup> потому, что оно сделалось уже нестерпимым. Опомиться не могу. Вот прекрасная диверсия тропаским действиям. Эта выскочка не хуже высадки во время Венского конгресса<sup>2</sup>. Та высадка выкинула мертвого недоноска: наша выскочка принесет младенца, еще во чреве окропленного живою водою и коему расти не по годам, а по часам. Не могу при том без ужаса и уныния подумать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на его голос? Раздраженное самолюбие, бедственный советник, или ничтожные холопы, еще бедственнее и того. Вот плоды ложного расчета самолюбия, которое побуждает отдалять все, что немного превышает казенную меру. Да чего бояться? Ты довольно умен, довольно возвышен душою, чтобы мериться с умом и великодушием. За что такое смирение, исчадие гордости? К чему эта недоверчивость к себе, которая вовлекает в недоверчивость к другим? У тебя довольно своего света: не пугайся, свет чужой не затмит его, напротив, придаст новый блеск твоему, сольется с твоим и разольет пространнейшее сияние, которое на тебе же одном отразится. Не забывайте, что Вы баловни неба! История даже и за то Вам сказывает спасибо, что при жизни Вашей в областях, Вам подвластных, родились великие люди, в коих Вы ни душою, ни телом не виноваты. Никогда еще царей<sup>3</sup>, ни царствования не хвалили за неурожай людей отличных, напротив, обвиняли, ибо, с другой стороны, знают, что как небо ни туго на возвышенные достоинства, а все со свечкою можно приискать их несколько. Что Вам хорошего в припадок решительный скажут Волконские и Ожаровские, которых вы за колесницею своею тащите по белому свету, как будто с тем, чтобы

<sup>1</sup> Зачеркнуто.

<sup>2</sup> Речь идет о бегстве Наполеона с острова Эльбы — начале периода «ста дней».

<sup>3</sup> В тексте описка: «цари».

похвастаться в глазах людей бесплодием земли Вашей? Конечно, не самолюбие говорит в нас: мы не алчем их мест почетных: мне блеска Вашего не надобно, природа худо или хорошо, но зажгла мне во лбу звезду, огонешек малешенек, который и без Вашего заимообразного сияния не потухнет и с гроба коего будет еще, быть может, отсвечиваться на памяти моей и весело играть в глаза потомков, познавших меня не по календарю придворному.

Не презрите, усыновите чувство наше: научите языку его детей Вашего сердца, Вашей любви. Мы за себя не стоим: Вам с нами скушно, не ловко: верю, но не знайтесь с нами, а по крайней <мере> слушайте нас, хотя в слуховое окно. За речи свои стоим, ибо голос совести не обманчив и мы носим убежденно, что говорит в нас нечто свыше нас, не человеческая опытность, которая при самом решении задачи часто обсчитывается, но истина врожденная, но природное чувство блага, природная изгага от всего низкого, нелепого, безобразного.

(Продолжение впрдь).»

По стечению событий Вяземский получил почти одновременно известие из Петербурга о восстании семеновцев и письмо из Константинополя от С. И. Тургенева, который, еще ничего не зная, развивал перед своим корреспондентом идею военной революции как естественного вывода из всего хода европейских событий.

С. И. Тургенев писал: «Самые правительства в том согласны: „La siècle, où nous vivons, exige que l'ordre Social aît des lois nitélaires pour base et pour garantie“<sup>1</sup>. Но правительства думают, что им должно помедлить дарованнем этих законов. Таким образом они горячат бабу Европу и не удовлетворяют ее. А между тем разбойники-якобинцы пользуются этим замедлением, осуждают правительства, а где могут, — берут сами, чего не хотят дать. Конечно, жаль, что солдаты дают законы, но я не понимаю, как этому удивляться можно. Сами правительства давным-давно их к тому приучили. Некоторые из них на солдат только и упирались, отняв у народа всю силу, которою бы он мог противиться солдатам. Обстоятельства последней войны еще увеличили материальную силу солдат силою нравственною, силою мнения. Они сражались за отечество, за независимость, за свободу. Вдруг вздумали этих гигантов превратить в пряничных солдат! И кто же? — Политические пигмеи. Чем? — подписью мирных трактатов. А противоборствуя-то, силу не подумали устроить. Там, где она есть, солдаты не опасны. Не ими погибнет Англия, и в России они не взбунтуются»<sup>2</sup>.

Зная взгляды С. И. Тургенева, нельзя сомневаться, что осуждение революционеров и уверенность в безопасности России от военных волнений предназначались для постороннего читателя. Известия из Петербурга были прекрасным комментарием к последним словам приведенной цитаты. Отношение к насильственным действиям у Вяземского к концу 1820 г. явно переменилось. Он снова возвращается в письмах к образу революции —

<sup>1</sup> Век, в который мы живем, требует, чтобы общественный порядок имел в качестве основы и гарантин покровительственные законы (*фр.*)

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 98.

разливающегося Нила. Но теперь это получает иной смысл. Прежде это означало признание благодетельных последствий революции, которая была уже совершившимся фактом, исторической данностью. Речь шла лишь о том — вырывать ли из истории эту страницу или нет. В таком виде сочувствие революции вполне доступно было и либералу, почитателю Бенжамена Константа, и французских «левых».

Теперь речь шла о другом — о пользе предстоящей русской революции: «Право, времена такие, что нужно силою пустить истины некоторого рода в ход. Тугие, но в сокровенности щедрые, берега Египта плодотворятся бурным разливом Нила. Терпение не есть повсеместная и каждовременная добродетель. Терпи рану, и антоиов огонь тебя съест, выйди из терпения, дай больное место на отсечение, и все кончено»<sup>1</sup>.

Не менее сложным было отношение Вяземского к одному из узловых вопросов декабристской тактики — проблеме цареубийства.

В революции — что является характерным для прогрессивного дворянского сознания 1810—1820-х гг. — Вяземского отпугивала не столько кровь, сколько массовость. Идею тираноубийства, индивидуального героического акта Вяземский принял значительно раньше, чем самое ограниченное принятие солдатской революции. Здесь эволюция совершилась быстрее.

Еще в начале 1819 г. он воспринял известие об убийстве Коцебу резко отрицательно. «Эти головорезы, — писал он, — окровавят дело свободы, как французские тигры окровавили дело свободы»<sup>2</sup>. Но уже в конце августа того же года он восхищается киевской речью Орлова и в том же письме говорит о потребности гражданского подвига: «Нынче на поле битвы не далеко в опасность уйдешь от рядов своих сверстников». И далее: «Мы — поколение Катонов, как ни говори, а отцы наши были сибариты»<sup>3</sup>. А в начале сентября в письме появляются многозначительные намеки: «Кровь кипит в 42 градуса. Я здесь учусь ненавидеть самовластие». И дальше: «Я не рожден для великих действий, но одно совершить надобно <...> Я не живу, а страдаю. Кровь у меня в жилах не течет, а клокочет»<sup>4</sup>. Конечно, это — мимолетная мечта о героическом подвиге, и от нее бесконечно далеко до идеи цареубийства как продуманного действия, политически и тактически подготовленного и санкционированного революционным подпольем. Подобные размышления еще не свидетельствуют о том, что Вяземский перешагнул грань, отделяющую широкую группу свобододолюбцев от когорты конспираторов. Мысли, подобные тем, которые волиовали Вяземского, посещали в ту пору многих прогрессивно настроенных общественных деятелей — их разделяли в 1820 г. Дельвиг и Чаадаев. В том же 1820 г. идея цареубийства вошла в сознание Пушкина.

Изменение в политической позиции Вяземского привело к последствиям, отражающим важную черту общественной жизни 1819—1820 гг., — началось

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 144.

<sup>2</sup> Там же. Т. 1. С. 205.

<sup>3</sup> Там же. С. 301.

<sup>4</sup> Там же. С. 306.

все возрастающее отчуждение его от круга карамзинистов — старых друзей по «Арзамасу».

Несмотря на глубокую личную привязанность к Карамзину, отчуждение между ним и Вяземским в эти годы нарастало. В марте 1820 г. Е. А. Карамзина с горечью писала брату: «Г. Тургенев, Александр, отбыл в Москву со своим братом Сергеем. Последнему не слишком понравилось общество моего мужа, поскольку, отправляясь в Константинополь и на время неопределенное, он не дал себе даже труда зайти попрощаться. Кто знает, мой дорогой князь Петр, кто знает, может быть, настанет день, когда, будучи с нами в одном городе, вы тоже не почувствуете в этом потребности. Ибо ваша братня *либералы* вместе с тем менее всего *терпимы*. Надо иметь одинаковые с ними взгляды — без этого нельзя не только друга любить, но даже и видеться. Я шучу, помещая Вас в это число: характер моего мужа мне порука, что мы останемся братьями, несмотря на политические мнения»<sup>1</sup>.

Споры с Пушкиным<sup>2</sup>, Вяземским, Н. и С. Тургеневыми, М. Орловым<sup>3</sup> определенным образом действовали на Карамзина, позиция которого в эти годы не оставалась неизменной. Однако гораздо более знаменательно расхождение Вяземского с Жуковским и либеральным А. И. Тургеневым. Уже в 1818 г. Вяземский убедился, что в Жуковском «нет ни капли конституционной крови»<sup>4</sup>. Эпистолярная полемика Вяземского с Жуковским за 1818—1819 гг., о которой есть упоминание в письмах к Тургеневу («я бился на кулачки с Жуковским»), к сожалению, до нас не дошла. О спорах между ними в 1820—1821 гг. речь будет ниже.

Но если столкновения между Вяземским и Жуковским происходили главным образом на литературной почве, то споры с А. И. Тургеневым имели политический характер и в этом смысле особенно показательны. Они свидетельствуют, что в 1818—1820 гг. процесс размежевания в передовой части общества шел еще не в форме отделения либералов от революционеров, а в виде разделения внутри прогрессивно настроенной общественности. При этом левая часть дворянских либералов приближалась к декабризму, правая часть переходила в умеренный и консервативный лагерь. Вместе с тем процесс размежевания находился еще в самой начальной стадии. Благодаря этому, одно и то же лицо — в данном случае А. И. Тургенев — могло еще по разным вопросам и часто под влиянием личных симпатий примыкать то к той, то к другой группировке. Особенно показательна разница в отношении к полярным явлениям эпохи — выступлениям декабристов и действиям ре-

<sup>1</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 98. Оригинал на французском.

<sup>2</sup> См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306—307; Томашевский Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 208—215.

<sup>3</sup> Карамзин писал Вяземскому 15 марта 1817 г.: «Орлов бывал у нас и спорил со мною, как прежде бывало» (Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 26).

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 132.

акции. Пока речь шла о борьбе с откровенной реакцией — дворянские либералы всех оттенков и члены тайных обществ в 1820 г. еще могут выступать единым фронтом. Так, 14 сентября 1820 г. на квартире у А. И. Тургенева Чаадаев, Блудов и Жуковский с возмущением читают составленную Магницким «Инструкцию директору и ректору университета».

Однако в отношении реальной программы действий взгляды неизменно расходятся. Например, киевская речь М. Орлова вызвала у Вяземского восторг: «Ну, батюшка, оратор! <...> Вот пустили козла в огород! Да здравствует Арзамас! Я в восхищении от этой речи»<sup>1</sup>. Между тем А. И. Тургенев встретил речь Орлова в высшей мере прохладно и не выразил никакого сочувствия идее превращения библейских обществ в политико-просветительскую организацию. Революционный пафос М. Орлова — для него беспочвенные мечтания: «Нет, пусть служит Орлов некоторое время внутри России, пусть узнает ее лучше нас — и тогда, если сохранит жар к добру, пусть придет сюда согреть оледенелые члены членов Государственного Совета»<sup>2</sup>. Иных форм общественного служения А. И. Тургенев представить себе не мог.

Вяземский переделывал свой «Петербург» совершенно в том же духе, что и «Деревня» Пушкина, а А. И. Тургенев находил в последней «преувеличения на счет псковского хамства (то есть крепостничества. — Ю. Л.)»<sup>3</sup>.

К концу 1820 г. расхождение с бывшими друзьями и сближение с установками тайных обществ зашло так далеко, что в сознании Вяземского выплыла идея конспирации, тайного сговора друзей свободы. 24 декабря 1820 г. он писал: «Есть, конечно, в России общество мыслящее, но это общество глухонемых. С ним можно говорить только на лице и знаками: ничего не раздается, вся умственная работа производится потаенно. Доживем ли до того, чтобы прорвалась сна»<sup>4</sup>.

Внутреннее развитие Вяземского подготовило его сближение с борющимися общественными силами, а биографические обстоятельства 1820—1821 гг. представили удобный случай.

Причины высылки Вяземского из Варшавы считаются в научной литературе твердо установленными и не возбуждающими сомнений. Обычно указывают на антиправительственные высказывания в личной переписке и симпатии к Вяземскому в польском обществе. Основанием здесь служат признание самого Вяземского в «исповеди» 1829 г. и предположения С. Н. Дурьлина о том, что письма Вяземского читались. Однако оба эти источника не бесспорны. «Моя исповедь» — отнюдь не объективное повествование о жизни, это оправдательная записка, предназначенная для Николая I, и извлекать из нее цитаты, не осмысляя общей тактической направленности документа, — метод весьма опасный. 1829 год был для Вяземского временем особенного обострения отношений с правительством. В реакционных кругах и в безымянных доносах на него прямо указывали как на избежавшего кары

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 299; ср. также с. 346—347.

<sup>2</sup> Там же. С. 307.

<sup>3</sup> Там же. С. 296.

<sup>4</sup> Там же. Т. 2. С. 128.



еднномышленника декабристов. В сознании правительства все еще бродило подозрение, что Н. Полевой — подставная фигура, за которой стоит Вяземский. Это тоже не улучшало его положения. Все это заставило Вяземского пойти на прямое объяснение с правительством. При этом он прибег к тактике, которой пользовался и Пушкин. Понимая, что отрицать свое «вольномыслие» бесполезно, Вяземский написал записку в тоне подчеркнутого чистосердечия. Однако изложение событий вряд ли было откровенным. Придерживаясь той же тактики, что и многие декабристы на следствии, Вяземский старается доказать, что его политические взгляды не выходили за рамки разрешенного в 1818 г. либерализма и никогда не менялись. Просто Александр I «отрекся от прежних своих мыслей <...> Я остался, таким образом, приверженцем мнения, уже не торжествующего, а опального, из рядов правительства очутился я, и не тронувшись с места, в ряду противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону»<sup>1</sup>. Высказывание это, не только воспринятое С. Н. Дурылиным с полным доверием, но и положенное им в основу своей концепции политических воззрений Вяземского, как мы видели, опровергается фактами.

Понимание особенностей тактики Вяземского заставляет нас поставить под сомнение туманное упоминание «польских симпатий» в качестве причины гонений на Вяземского. Следует иметь в виду, что в 1829 г., то есть до польского восстания 1830 г., тезис этот не звучал для официальных ушей столь одиозно. Между тем и письмо Новосильцева Вяземскому, содержащее запрет возвратиться в Варшаву (письмо сохранилось в бумагах Вяземского), и какие-либо иные из дошедших до нас документов тех лет не содержат следов подобной аргументации высылки Вяземского. Более того, ясно, что высылка крупного должностного лица из Варшавы не могла быть произведена без договоренности с Константином Павловичем. Если он и не был инициатором этой меры, то санкция его была совершенно необходима. Между тем, хотя дикие выходки Константина Павловича возбуждали ненависть к нему в польском обществе, сам он не был чужд стремления построить политику на сочетании грубого давления и заигрываний. «Польские симпатии» в начале 1820-х гг. еще не были для русских правительственных кругов в Варшаве преступлением такого масштаба, которое оправдало бы столь резкую и демонстративную меру (удалить Вяземского из Варшавы можно было бы и значительно менее гласным способом). Невольно напрашивается сопоставление этой меры с высылкой Пушкина и Катенина, с отставкой М. Орлова и Граббе.

Что касается второй из называемых обычно причины — перлюстрации писем, то и здесь необходимы некоторые ограничения. Перлюстрация писем Вяземского вполне вероятна, однако все же нельзя забывать, что прямых доказательств ее нет, — как мы видели, аргументация этого положения С. Н. Дурылиным основана на недоразумении. Необходимо иметь в виду и то, что данные перлюстрации чаще всего пускались в ход тогда, когда

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 18.

намерение учинить расправу уже созрело, — так было, например, с высылкой Пушкина из Одессы. Между тем еще незадолго до рокового письма Новосильцева, запретившего возвращение Вяземского в Варшаву, отношение к последнему правительственных кругов казалось вполне благосклонным.

Так, в 1819 г. Александр I, будучи в Варшаве, назначил Вяземскому час прибытия к себе, говорил ему о Польше, «снизошел до объяснений, почему в государственном управлении иное делается так, а не иначе»<sup>1</sup>.

Для того чтобы представить действительные причины высылки Вяземского из Варшавы, необходимо остановиться на некоторых событиях, развернувшихся в польской столице в 1820—1822 гг.

Вяземский в «Моей исповеди» указал на свои связи с польской общественностью и совершенно обошел знакомства с находившимися в Варшаве декабристами и тяготевшими к декабризму передовыми русскими офицерами. А они, конечно, были. Не все в этом вопросе поддается освещению. Мы можем предположить существование дружеских отношений в этот период между Вяземским и Петром Христиановичем Граббе. О встречах Вяземского и декабриста Павла Граббе в Москве свидетельствует французская записка Граббе, сохранившаяся в бумагах Вяземского. Приводим перевод: «Вернувшись довольно поздно и найдя Вашу, князь, записку, спешу Вас уведомить, что завтра я рассчитываю, как я думаю, располагать своим временем с утра до полудня»<sup>2</sup>. П. Х. Граббе — варшавский знакомец Вяземского и родной брат Павла Христиановича Граббе — члена Союза Благоденствия. Между тем Граббе именно в эту пору не принадлежит к числу рядовых, теряющихся в общей массе участников тайных обществ. Он входит в коренной союз Союза Благоденствия. В 1820—1821 гг. он особенно политически активен и является одним из выдающихся деятелей того умеренного крыла Союза Благоденствия, которое числило в своих рядах Фювизиных и Якушкина. В 1821 г. он выступает в качестве одного из вдохновителей московского съезда.

Видимо, через Петра Граббе Вяземский познакомился и с его братом — декабристом. В письмах 1823 г. к Тургеневу он осведомляется о его жизни и передает приветы. Из этих упоминаний явствует, что декабрист Граббе получал от Вяземского книги.

В варшавском доме Петра Граббе Вяземский познакомился с кружком свобододолюбивых офицеров, главным образом из лейб-гвардии Литовского полка.

На рубеже 1810-х и 1820-х гг. в лейб-гвардии Литовском полку происходили весьма интересные для историка преддекабристских настроений события. Среди передовой части офицерства господствовали те самые настроения, которые характерны для общественного окружения Союза Благоденствия: ненависть к фрунту, интерес к серьезным и научным занятиям, культ гражданских добродетелей, увлечение политическими и общественными науками.

<sup>1</sup> Русская старина. 1893. Февраль. С. 434.

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1776. Л. 1.

В мемуарах А. А. Одинцова читаем: «Общество офицеров л.-гв. Литовского полка отличалось тесным товариществом, либеральными мнениями александровских времен и полным сознанием своего достоинства как корпорации. Из офицеров полка было много хорошо образованных, прилежно читавших политические и военные сочинения»<sup>1</sup>. Несмотря на муштру и шагистику, которых было «достаточно», чтобы совершенно умственно «отупеть», «находилось, по счастью, некоторое число офицеров, успевавших проглотить всего Жомини, кроме другого чтения»<sup>2</sup>.

Попав в такую среду, Одинцов и сам предался изучению политических наук. От товарищей он «получил „Essais sur les moeurs“ de Voltaire, и это сочинение сделалось моею настольною книгою. Вольтер, Монтескьё, Франклин, Вейсе определили в моей молодости мое мирозерцание. Сожитель мой Обручев был пламенный последователь Руссо, и можно представить, какие споры и прения возникали между нами»<sup>3</sup>.

Дружеская близость между свободомыслящей частью офицеров получила организационное оформление в лагерный период 1819 г. Возникла «артель», не прекратившая своего существования и после возвращения в Варшаву. Из чисто хозяйственной организации «артель» скоро превратилась в дружеское просветительное общество с ярко выраженной политической окраской. Весь этот процесс детально освещен в мемуарах Н. В. Вернгина. «Не помню, кто подал мысль не прерывать лагерных бесед и в самой Варшаве. Было положено, чтобы у некоторых офицеров по вечерам собирались мы <...> Скоро составил класс английского языка»<sup>4</sup>.

Все это живо напоминает обстановку в гвардейских полках в Петербурге после окончания заграничных походов. По воспоминаниям М. А. Фонвизина, «в то время многие офицеры гвардии и генерального штаба с страстью учились и читали преимущественно сочинения и журналы политические»<sup>5</sup>. Такой же круг интересов передового гвардейского офицерства очерчивает Пушкин в кишиневском наброске комедии:

...В своем кругу они  
О дельном говорят, читают Жомини<sup>6</sup>.

Уже сам факт появления у офицеров интересов, отличных от фрунтормании, вызвал подозрительное отношение командования. А. А. Одинцов вспоминал:

<sup>1</sup> Русская старина. 1889. Ноябрь. С. 314.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 315.

<sup>4</sup> Там же. 1892. № 11. С. 302.

<sup>5</sup> Фонвизин М. А. Обзорение проявлений политической жизни в России // Общественные движения в России в первую половину XIX в. Т. 1: Декабристы М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский и бар. В. И. Штейнфельд. / Сост. В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев. СПб., 1905. С. 185.

<sup>6</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 246. Подробный анализ связи офицерских артелей в гвардейских полках после наполеоновских войн и ранних декабристских организаций см. в статье М. В. Нечкиной «Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814—1817 гг.» (Декабристы и их время. М.: Л., 1951) и в книге того же автора: Движение декабристов. Т. 1.

«Константин Павлович не любил, чтоб офицеры занимались науками, тем более политическими, и потому Литовский полк был у него на дурном счету и за ним шпионили более, нежели за польскими полками»<sup>1</sup>.

Настороженность начальства увеличилась в связи с тем, что «занятия» и беседы в «артели» имели отчетливо выраженный политический характер. По словам Одинцова, «все вообще были пылкие сторонники парламентаризма»<sup>2</sup>. Записки Веригина рисуют не менее яркую картину: «Разговоры о греках, римлянах, о немецкой философии, о революциях Англии, Франции, о правах человека на личность, о собственности — порождали возражения, споры, соглашения»<sup>3</sup>. Тематика бесед весьма характерна. Разговоры о греках и римлянах в контексте бесед о современном деспотизме — это не школьные рассуждения о добродетелях. Для околodeкабристской молодежи подобная тематика звучала как исполненная политической актуальности. Чрезвычайно показательно описание в «Записках» Якушкина того, как произошло принятие в тайное общество П. Х. Граббе — брата того, в чьем доме в Варшаве происходили упоминаемые Веригиным споры.

«Пока мы ходили, разговорная, по комнате, человек Граббе принес его долман и ментик. Я спросил его, куда он собирается в таком облачении. Он отвечал, что ему необходимо явиться к гр. Аракчееву. Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал на древних историков. В это время мы с страстью любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При чтении Граббе, видимо, воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе, потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял не раз: „Граббе этот, видно, возгордился, что ко мне не едет“. Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены Тайного общества»<sup>4</sup>.

Разговоры о «правах человека на личность, о собственности», которые велись в «артели», — это, конечно, препия о решении крестьянского вопроса в России.

Душой офицерской артели лейб-гвардии Литовского полка были ротные командиры капитан Николай Николаевич Пушкин и штабс-капитан Петр Андреевич Габбе — «самые уважаемые и влиятельные в обществе офицеры», по характеристике Веригина<sup>5</sup>.

П. А. Габбе, поэт и пламенный свободолобец, принадлежал к ближайшему окружению Вяземского в Варшаве. Настроения Габбе достаточно хорошо

<sup>1</sup> Русская старина. 1889. Ноябрь. С. 318.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. 1892. Октябрь. С. 65—66.

<sup>4</sup> Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 20.

<sup>5</sup> Русская старина. 1892. Ноябрь. С. 296.

рисуются из его писем к Вяземскому. К муштре и фрунтманин, а также и лично к великому князю Габбе настроен весьма критически (несмотря на то, что Константин Павлович знал его с детства, покровительствовал ему, называя Габбе — «мой Петруша»). Так, в письме от 14 мая 1820 г. Габбе сообщает Вяземскому: «Объявляю вам здешнюю новость: третьего дня в <еликий> к <нзяз> обвенчался, а вчера уже ездил в кабриолете со своей супругою. Что скажут нравоверные, узнавши, что молодой на другой день свадьбы своей в 5 часов утра делал... ученье? ...Мы, со своей стороны, молчим, ибо говорить в службе запрещается»<sup>1</sup>. Летом 1821 г., в разгар разговоров о греческом восстании, Габбе писал: «С нетерпением ожидаем мы решения о войне с турками. Конечно, нам бояться нечего: нас ношлют разве для обучения экзерциции гг. потомков Фемистокла и Эпаминонда или же для пригонки их амуниции (выражение также наше!), ибо известно, что греки не наблюдают никакой формы»<sup>2</sup>.

Вокруг Вяземского образовался кружок любителей литературы и свободолюбцев<sup>3</sup>. В какой-то мере он сообщался с офицерской артелью — по крайней мере Габбе и Граббе соединяли эти кружки. К кружку Вяземского примыкал и ряд других лиц — например, И. М. Фовицкий — приятель А. Е. Измайлова, А. Х. Востокова и М. В. Милонова, печатавшийся в различных журналах начала века. В эту пору он служил в Варшаве наставником при Александрове — воспитаннике Константина Павловича. Позже Вяземский вспоминал: «С ним мы очень сблизились, ему поверял я тотчас сметанные на живую интку произведения свон и часто пользовался умиыми и дельными замечаниями его»<sup>4</sup>.

Правда, видимо, степень близости тех или иных членов кружка к Вяземскому была неодинаковой. Так, Фовицкий, более осторожный и уклончивый, не возбуждал доверия в решительно настроенном Габбе, который предупреждал и Вяземского: «Этот человек, кажется, вас любит, он и мне понравился, но он слишком близок к огнедышущему жерлу, чтобы можно было смело на нем основываться, не боясь пламени»<sup>5</sup>.

Круг варшавских «сочувствиеиников» Вяземского не поддается точному учету. Вероятно, сюда входил и ряд лиц, пока нам неизвестных. Так, например, в письме от 28 августа 1823 г. к А. И. Тургеневу Вяземский поручает его покровительству некоего Карелина. Последнему дается следующая характеристика: «Он познакомился со мною в Варшаве, а теперь он мой варшавский сонзгнапник. Чудак большой руки, с умом твердым, просвещенным, познаниями большими»<sup>6</sup>. Лицо это, примечательное хотя бы тем, что попало под одну с Вяземским волну репрессий, нам неизвестно. В. И. Сантов в коммен-

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 1.

<sup>2</sup> Там же. Л. 3 об.

<sup>3</sup> «Со времени отъезда вашего померкла здесь для меня звезда поэзии», — писал Вяземскому Габбе 14 августа 1821 г. (там же).

<sup>4</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 13.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. 1705. Л. 3.

<sup>6</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 343.

тарии без колебаний отождествил его с Григорием Силычем Карелиным — известным географом, естествоиспытателем, неутомимым исследователем азиатских областей России. Однако никакие из имеющихся биографических материалов о Г. С. Карелине не упоминают ни его службы в Варшаве, ни изгнания оттуда. Более того, из писем Тургенева Вяземскому следует, что варшавский знакомец последнего находился осенью 1823 г. в Петербурге и посещал А. И. Тургенева. Между тем Г. С. Карелин в это время находился в ссылке в Оренбурге. Вместе с тем возможно, что перед нами все же не простое тождество фамилий. На какую-то связь намекает странное совпадение: в то самое время, когда Карелин — приятель Вяземского был изгнан из Варшавы, Г. С. Карелин был без какой-либо мотивировки по личному распоряжению Аракчеева, в подчинении у которого он находился, схвачен и в одном мундирном сюртуке, только лишь с носовым платком в кармане отправлен из Петербурга в ссылку в Оренбург. Было ли это случайным совпадением в той широкой волне репрессий 1821—1822 гг. (ссылки, отставки, запретов въезда в столицы), размеры которых в научной литературе явно недооцениваются, или имело определенную связь между собой, — вопрос, не лишенный интереса.

В кругу своих варшавских друзей Вяземский играл, бесспорно, первенствующую роль. Следы литературных вкусов Вяземского легко обнаружить в высказываниях его друзей. Так, 24 июля 1821 г. Фовицкий писал Вяземскому: «9 том Истории Н<иколая> М<ихайловича Карамзина> я уже прочитал до половины. Боже мой! Что за зверь был Грозный! Вот вам — поэтам предмет! Зачем пугать призраками слабые души! Возьмитесь-ка восплакать на<д> бедствиями России в царствование Грозного. Устрашите жестоких тиранов злодействами их подобных, пролейте слезы жалости и утешения для добрых, которых сердца воскипели негодованием на злодеяние, пролейте свет истины во мрак политических систем деспотизм и проч. и проч. Ах, если бы я был поэт! — А никто не мог бы так хорошо исполнить это предприятие, как Вы!»<sup>1</sup>

В приведенном высказывании все характерно: и осуждение романтизма Жуковского («зачем пугать призраками слабые души»), и требование политически актуальной тематики в поэзии, и интерес к русской истории, и, наконец, призыв будить в сердцах «негодование» (отметим, что одноименное стихотворение Вяземского было Фовицкому уже известно)<sup>2</sup>.

Габбе был настроен еще более решительно, и если Фовицкий, видимо, в какой-то степени подделялся под общий тон бесед в окружении Вяземского, то свободолюбие первого было искренним и пламенным. Свое литературное credo он выразил в письме к Вяземскому: «Нарушаю все правила синтаксиса, ибо правила считаю деспотизмом, и стихи свои оставляю будущему потомству

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 5.

<sup>2</sup> Правда, неустойчивый в своих литературных, как и политических, воззрениях, Фовицкий в дальнейшем, благожелательно приняв выход первой книги «Полярной звезды», все же осудил «мужицкий язык» произведений Бестужева. «Мне все мерещится А. С. Шишков», — писал он (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 31).

в рукописях. Увы! теперь (то есть после изгнания Вяземского. — Ю. Л.) некому здесь показать своих произведений: пожалуй, станут еще судить по артикулу Петра Великого, и Музу мою вынишут без выслуг в рядовые»<sup>1</sup>. Доверяя бумаге эти шутливые строки, Габбе не знал, как скоро сбудутся его зловещие предчувствия.

1820 год — время сплочения литературно-политического кружка Вяземского в Варшаве — вместе с тем был временем предельного накала его политической оппозиционности. После конгресса в Троппау-Лайбахе надежды на любую форму сотрудничества с правительством (пусть даже в виде давления на него с целью силой страха вырвать реформу общественного бытия России) были похоронены. Письма Вяземского осени 1820 г. — времени Троппау-Лайбахского конгресса — буквально кпяют от «мятежных» мыслей. Если в феврале 1820 г. он с опасением предсказывал Пушкину: «Опять заведутся конгрессы, эти кузнецы оков народных»<sup>2</sup>, то к осени он убедился, что худшие его ожидания оправдались. Для Вяземского безоговорочно ясно, что «этот конгресс не что иное, как заговор самодержавия против представительного правительства»<sup>3</sup>. Решительно разойдясь с А. И. Тургеневым, Вяземский отказывается разделить его горечь по поводу частных неурядиц русской жизни. В ответ на lamentации Тургенева, вызванные внеочередным рекрутским набором, Вяземский с суровой решительностью утверждает, что думать надо о другом — о бедственности положения страны.

«Россию ест гнилая горячка. Что мне охать отдельно над новым пятном, оказавшимся на лице! Я оплакиваю неминуемую смерть больного... Бедствие — решимся па это ужасное признание — сидит..... и насылает на нее все пагубы, все заразы: вот это зрелище извлекает из глаз моих кровавые слезы, а не губернское правление в минуту набора»<sup>4</sup>.

Отрицание всего самодержавного порядка было выражено здесь с такой определенностью, что даже в 1899 г. издатели не решились опубликовать это место полностью. Несколько позже Вяземский признавался: «В заточении вологодском плен и пожар Москвы не так часто обхвачивал мой ум, как этот Лайбах <...> Все надежды, вся доверенность, все терпение рушатся, если только па миг прностановишь мысль на нем»<sup>5</sup>.

В этой напряженной обстановке, когда, по убеждению Вяземского, было «не время осторожничать»<sup>6</sup>, и родилось стихотворение «Негодование» — вершина политической лирики Вяземского.

Для того чтобы понять сущность замысла этого стихотворения, необходимо уяснить себе, что значила для Вяземского и его современников сама идея поисков вдохновения в негодовании: «Мой Аполлон — негодование!»

<sup>1</sup> РГИА. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 4.

<sup>2</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 13.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 92.

<sup>4</sup> Там же. С. 93.

<sup>5</sup> Там же. С. 139.

<sup>6</sup> Там же. С. 105.

Прежде всего, необходимо учесть, что современники, конечно, прекрасно улавливали связь этого стиха с «славным полустишием» (А. И. Тургенев) Ювенала: «Facit indignatio versum»<sup>1</sup>. Так стихотворение связывалось с той высокой «ювеналовской» сатирой, которая именно в ту пору начинает играть все большую роль в декабристской политической лирике. В том же 1820 г. Кюхельбекер писал:

В руке суровой Ювенала  
Злодеям грозный бич свистит  
И краску гонит с их ланит,  
И власть тиранов задрожала<sup>2</sup>.

«Ювеналовская» сатира, прежде всего, воспринималась как художественное направление, противопоставленное школе Жуковского. Высоко ценимый Вяземским поэт-сатирик М. В. Милонов писал Жуковскому, осуждая и арзамасский культ безобидной шутки, и специфическое истолкование Жуковским творчества Шиллера как уводящего от земных дел в мир чистых идеалов:

...Итак, останемся мы каждый при своем,  
С галиматьсю ты, а я с парнасским жалом,  
Зовьсь ты Шиллером — зовусь я Ювеналом.

Тема стихотворения была подсказана Вяземскому — как это ни парадоксально — Жуковским. «Помнишь ли, что раз в Павловском надоумил ты меня написать „Негодование“. Семя твое зародилось в моем чреве», — писал Вяземский Жуковскому<sup>3</sup>. Однако, разрабатывая тему в «ювеналовской» традиции, Вяземский открыто и сознательно противопоставлял свою манеру политического поэта идеальной романтике Жуковского. Политика, свободолюбие, злободневность поэзии, поиски правды, агитационность, союз с народами, с одной стороны, и удаление от острых вопросов в мир чисто литературных интересов, союз с царями, проповедь деспотизма и туманный романтизм, с другой, — таковы в сознании Вяземского 1820—1821 гг. два возможных литературных пути.

Именно в этом плане раскрывается антитеза (ср. с пушкинской одой «Вольность») легкой поэзии и музыки негодования в начале стихотворения. С одной стороны, «вымыслы», «мечтанья», «фиал волшебств», «очаровапья цвет» — былые кумны, отвергнутые ныне поэтом. С другой — идеалы правды и борьбы. Во имя их отвергнут и мир поэтических образов Жуковского:

<sup>1</sup> «Негодование рождает стих» (лат.) — второе полустишие 79 стиха сатиры Ювенала.

<sup>2</sup> Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Л., 1939. С. 45.

<sup>3</sup> Письма Вяземского Жуковскому были опубликованы в «Русском архиве» за 1900 г., но с большими изъятиями. Частично цитировались по рукописям А. Н. Веселовским в его монографии о Жуковском. Ввиду отсутствия полных и научно удовлетворительных публикаций цитируем по рукописям, хранящимся в Архиве ИРЛИ. 27 985/СС. 16. 44. Л. 4.



И призраки принес в дань истине угрюмой, —

и эпикурейские идеалы молодого Батюшкова:

И я сорвал с чела, наморщенного думой,  
Бездушных радостей венюк.

Теперь поэты привлекают иные пути:

Я правде посвятил свой пламенный восторг...  
Мой Аполлон — негодованье!

Лучшим комментарием к этим строкам является письмо Вяземского к Жуковскому от 15/27 марта 1821 г. — одно из его последних варшавских писем. Здесь почти в тех же выражениях, что и в «Негодовании», характеризуется необходимость поворота к новым поэтическим путям: «Полно тебе нежиться на облаках, спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию Души твоей. *Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов* (ср.: «Но, лстивых лжебогов разоблачив кумиры, / Я нравде посвятил свой пламенный восторг»). *Благородное негодование — вот современное вдохновение* (ср.: «Мой Аполлон — негодованье!»)»<sup>1</sup>.

Для поэзии Вяземского этих лет характерно стремление, не сомневаясь в личном бескорыстии Жуковского и Карамзина, подчеркнуть связь их творческой позиции с корыстными интересами реакции. Так, если прежде Вяземский мог предаваться со всей страстью борьбе с литературными староверами, то теперь он не просто осуждает замыкание в сфере чисто литературных интересов, но и указывает на политический смысл подобной позиции. Когда друзья-карамзинисты выражали Вяземскому радость по поводу того, что цензура пропустила в «Послании к Каченовскому» оскорбительные для адресата стихотворения намеки, Вяземский писал (21 января 1821 г.): «Какой же либерализм цензуры, которому дивятся ваши ротозей? Все оттенки политические, кои были в „Послании“, вымазаны Тимковским. Осталась одна личность. Не бойся, правительство радо будет, когда мы между собою грызться начнем за лавры: забудем тогда на него лаять за хлеб насущный. Ему выгодно держать нас при ребячестве письма»<sup>2</sup>.

По мере того, как деятели европейской реакции начинают рисоваться Вяземскому не только в облике глупцов, противостоящих «умным людям», но и как политики, не понимающие реальной обстановки, «духа времени», живущие призраками вчерашнего дня, Вяземский все чаще объединяет их с мечтателями-романтиками, потерявшими связь с импульсами жизни. Одними и теми же терминами Вяземский определяет дипломатические доктрины «Священного Союза» и поэтическую позицию Жуковского. О первых: «Ой,

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ. 27 985/СС. 16. 44. Л. 3. Курсив мой. — Ю. Л.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 144. Курсив мой. — Ю. Л. Характерно, что Карамзин упрекал Вяземского за привнесение политического оттенка, настаивал на чисто литературном характере полемики: «A propos de liberalistes: зачем в писеце литературной говорите Вы о представительной системе и взаимном обучении? C'est une faute contre le goÿt» (Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 75).

уж мне этот оссианизм дипломатический! Всюду меня преследует!»<sup>1</sup> Каподистрия «немного оссианит» (показательно, что, как и о Жуковском, речь идет о либеральном, но не порвавшем с правительством деятеле)<sup>2</sup>. О ноте революционного правительства Неаполя Австрии: «Тут не по-нашему — дипломатический оссианизм и библейское словоизвитие, — а чистосердечное изложение запроса, по каким правам впутываются в домашние дела народа, который сам никому не указ»<sup>3</sup>. «...Дипломатические Оссианы, нелепые ковачи раздутых и порожних фраз, а хуже всего — ковачи цепей народных, одурелые, запоздалые»<sup>4</sup>. О Жуковском: «Что придворный Оссиан?»<sup>5</sup>

Для царей, съехавшихся на конгресс, Вяземский находит определение «политические лунатики». Однако именно это прозвище укрепилось за Жуковским как автором стихотворных отчетов о луне. Так, Н. И. Гнедич писал Жуковскому в 1820 г.: «Получил все четыре экземпляра луны твоей, любезнейший мой лунатик...»<sup>6</sup>

Почему же Вяземский сближает Жуковского, ни в бескорыстии, ни во внутреннем сочувствии которого идеалам свободы и просвещения он не сомневался и которого он, конечно, не считает сознательным союзником самодержавия, с царями-деспотами? Дело в том, что теперь Вяземский принципиально не желает отграничивать от лагеря реакции всех, кто не борется с ней. Любая пассивная форма примирения с властью осуждается. Выдвигается требование полного отмежевания от действий правительства: «В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его», и далее: «Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Как ни будь поверхностно и малозначительно обхождение супруга с девками, но брачный союз все от того терпит и рано или поздно распутство дома отзовется. Брачный союз наш с народом: домашняя битва наша в отечестве. Царская ласка — курва соблазнительная, которая вводит в грех и от обязанности законной отвлекает. Говорю тебе искренно и от души, ибо беспрестанио думаю о тебе и дрожу за тебя. Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо уверен в непреклонности твоей совести, но мне больно видеть воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом»<sup>7</sup>. Такая постановка вопроса не только пересматривала соотношение передового лагеря и правительства, но и изменяла само содержание

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 247.

<sup>2</sup> Там же. С. 309.

<sup>3</sup> Там же. Т. 2. С. 114.

<sup>4</sup> Там же. В этой же образно-идейной системе — утвердившееся в письмах Вяземского в 1820—1821 гг. определение Александра I как «сентиментального путешественника» или — ближе к Карамзину — «русского путешественника», участники конгрессов — «царственные Стерны» (Там же. С. 137). Острота определения заключается в сочетании мысли об оторванности от жизни с намеком на разъезды «кочующего деспота». О Ржевусской Вяземский говорит: «Она как-то погрязла в ультрацизме и каком-то венском романтизме» (Там же. С. 176).

<sup>5</sup> Там же. С. 244.

<sup>6</sup> ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Оп. 2. № 73. Л. 44.

<sup>7</sup> Архив ИРЛИ. 27 985/СС. 16. 44. Л. 3.

понятия «свободолюбец». Теперь круг подходящих под это определение лиц сужался, приближаясь к понятию «член антиправительственной группировки».

Вместе с тем в понятии декабристов и околодекабристских литераторов «бич Ювеналов» означал не насмешки над отдельными уродливостями обычаев и нравственных представлений, а поднятую до степенн поэтического обобщения сатиру на весь политический и этический порядок. Такая сатира подразумевала гораздо большую целостность критического мировоззрения и больший пафос отрицания, чем обычные сатиры поэтов начала XIX в. Об этом писал Вяземский Воейкову, осуждая его за «мелочность» обличения: «Надобио было проскакать на летучем коне и Ювеналовским бичом махнуть вправо и влево в пороки, но ты нападаешь на *одежду, моды, лица, учтивость и ласковость*»<sup>1</sup>.

Для правильного понимания замысла «Негодования» необходимо учесть и особую семантику названия. Негодование обычно понимается как определение эмоции, состояния. Словарь Д. Н. Ушакова определяет его как «возмущение, крайнее недовольство». Однако в политической лирике начала XIX в. за этим словом закрепилось и другое, значительно более активное семантическое содержание — месть. Так, например, стихотворение Востокова «Гимн негодованию» в первоначальной редакции называлось «Гимн возмездию», а в одной из публикаций появилось под названием «Гимн Немезиде»<sup>2</sup>. Стихотворение Востоков снабдил специальным примечанием: «У греков обоготворяема была Немезис, т. е. Негодование, возбуждаемое в нас всяким несправедливым, гордым, обидным для человечества поступком»<sup>3</sup>. Необходимо иметь в виду, что «человечество» для Востокова, как и для просветительской публицистики XVIII в., — политический термин, включающий и понятие о правах человека.

Вяземский был внимательным читателем современной ему поэзии, очень уважал гражданскую лирику Востокова, и разъяснение это ему не могло быть неизвестно. Кстати, такая семантика слова, вообще, была в употреблении: у Пушкина рядом со значением «негодование» — «чувство возмущения» встречается и «негодование» — «месть».

В «Андрее Шенье»:

...падешь, тиран! негодование  
Воспрянет, наконец<sup>4</sup>.

В стихотворении Вяземского заглавие включает оба смысла: оно характеризует и субъект лирики — гневный пафос возмущенного автора, и призыв к активному действию, отмщению тиранам:

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1234. Л. 9.

<sup>2</sup> См.: Санктпетербургский вестник. 1813. Ч. II. С. 258; Сын Отечества. 1814. Ч. XI. С. 19; Стихотворения Александра Востокова. СПб., 1821. С. 181; *Востоков А. X.* Стихотворения. Л., 1935. С. 207.

<sup>3</sup> Цит. по комментариям В. Н. Орлова в кн.: *Востоков А. X.* Стихотворения. С. 405.

<sup>4</sup> *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 2. Кн. 1. С. 401—402.

Он загорится, день, день торжества и казни,  
 День радостных надежд, день горестной боязни!  
 Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,  
 Вам, други чести и свободы!  
 Вам плач надгробный! Вам, отступники природы!  
 Вам, притеснители! Вам, низкие льстецы!<sup>1</sup>

Характерно, что в том же письме к Жуковскому, в котором Вяземский пересказал основную идею «Негодования», мы находим и призыв к отмщению. Сразу же после слов о том, что «благородное негодование — вот современное вдохновение», читаем: «При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий о чистом самодержавии, какая лира не отгрянет сама: мсть! мсть!»<sup>2</sup>

Бесспорно, что и в период работы над «негодяйкой» (полушутливое, полуконспиративное название «Негодования» в письмах Вяземского) вопрос о тактике борьбы с правительством и о допустимости в этой борьбе насильственных мер все еще оставался для Вяземского открытым. Поэт колебался, испытывал сомнения и так и не мог перешагнуть грань, отделявшую его от революционеров и конспираторов. В этом смысле показательны не те строки, которые содержат осуждение и революционного терроризма, и «дипломатического оссианнзма» реакционных правительств «Священного Союза»:

Но где же чистое горит твое светило (свободы. — Ю. Л.),  
 Здесь плавает оно в кровавых облаках,  
 Там бедственным его туманом обложило  
 И светится едва в мерцающих лучах<sup>3</sup>.

Гораздо симптоматичнее отношение к специфически-декабристским формам политической борьбы. Любопытно в этом смысле сопоставление «Негодования» с «Кинжалом» Пушкина — стихотворением, также посвященным «Немезиде» — мщению.

Если Пушкин пламенно призывает к убийству тиранов, то Вяземский (хотя, как мы видели, отношение его к этому вопросу с 1818 г. претерпело существенные изменения) роняет фразу, которую, видимо, следует истолковывать как осуждение действий Занда и Лувеля:

Там нож преступный изуверства  
 Алтарь твой девственный багрит<sup>4</sup>.

Но дело не только в этом. Необходимо отметить другую особенность. Идея борьбы с тиранами неразрывно связана для Пушкина с постановкой тактических вопросов, между тем как Вяземский вопросов тактики, то есть практических путей движения к идеалу свободы, не ставит вообще. Последнее обстоятельство для 1820—1821 гг. может служить одним из критериев разделения прогрессивной дворянско-либеральной мысли тех лет и идеологии

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 157.

<sup>2</sup> Архив ИРЛИ. 27 985/СС. 1 б. 44. Л. 3.

<sup>3</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 156.

<sup>4</sup> Там же.

декабристов. Пока среди прогрессивных кругов господствовала вера в тактику медленной пропагандистской работы, борьба за отчетливые, ближние, но частные цели — вопросы тактики — были ясны для всего прогрессивного лагеря в целом: оружие сатиры, патриотические призывы к общественному мнению, осуждение конкретных действий реакции, давление на правительство. Задачи борьбы за осуществление более общих целей мыслились еще как настолько отдаленные, что отсутствие единства по этому вопросу (практически оно выразилось в работах по созданию второй части «Зеленой книги»<sup>1</sup>) еще не могло стать причиной политического размежевания. На рубеже 1820—1821 гг. положение изменилось: недостаточность старых средств борьбы ощущалась всемирно, чувство нетерпимости существующего положения и ненависть к реакции возросли во всем передовом обществе в целом. Не следует думать, что начинающееся размежевание дворянских революционеров и либералов сопровождалось примирением последних с реакцией. Наоборот, именно в эту пору дворянская передовая общественность покачнулась влево. Перед лицом деятельности Магницкого и Рунича даже А. И. Тургенев, единственный из братьев, наследовавший набожность отца, осуждает религиозную маску реакции. Он пишет Вяземскому: «C'est une petite bande de dévots, qui te rendra impie»<sup>2</sup>. И даже Карамзин испытывает в эти годы любопытное колебание в политической позиции.

Однако у дворянских революционеров радикализация политической программы сопровождалась повышением интереса к вопросам *революционной тактики*. С каждым новым шагом вперед тактические установки приобретают все большую отчетливость. Именно в отношении к вопросам тактики особенно четко проявлялась постепенная демократизация позиции декабристов.

Между тем для дворянского либерализма и для тех групп, которые, испугавшись, отходили от декабризма в 1821 г., характерно сочетание ненависти к реакции с неприятием революционных путей. Это выразилось в стремлении вообще уклониться от обсуждения тактических вопросов. Идеалы — конституция и ликвидация крепостничества — еще общие. Камнем преткновения, таким образом, делается отношение к вопросам тактики — не только к решению, но и к самому факту постановки подобных вопросов. Именно это обуславливает водораздел между поэзией Вяземского, с одной стороны, и Пушкина и декабристов — с другой. Вместе с тем, с точки зрения правительства, и те и другие стихи были в равной мере криминальными. Известно, какие опасения вызвало «Негодование» у А. И. Тургенева, который, вопреки требованиям Вяземского, упорно отказывался распространять стихотворение.

«Негодование», видимо, обсуждалось в варшавском кружке Вяземского. Любопытным памятником этого обсуждения является автограф Фовицкого,

<sup>1</sup> См.: Чернов С. Из работ над «Зеленой книгой» // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 67. «Если что меня и делает нечестивцем, так это шайка ханжей» (фр.).

хранящийся в Остафьевском архиве и озаглавленный рукой Вяземского «Замечания Фовицкого в Варшаве на мое стихотворение „Негодование“». Произведение вызвало восторг Фовицкого, хотя и испугавшегося смелости его выражения. Прочитав, он записал: «Вот уж подлинно: ужасно хорошо! Какая свобода! Какое негодование». И далее: «Хранители казны народной... Это Голубцов? Нельзя ли назвать их как поблагороднее? Да и нельзя ли допросить не собирая? Уж и то они все живут на конгрессах. Будто уж и с отчаянной вдовы и с голодного (а не голодной) сироты собирают подати? Не сказали бы, что это возмутительно? Дальше — справедливее: но волос дыбом становится! Смотрите, не забывайте Радищева»<sup>1</sup>.

По поводу строк:

Я вижу подданных царя,  
Но где ж отчества граждане? —

Фовицкий замечал: «Не знаю, как смелый цензор позволит вам спрашивать, где *граждане* (citoyens)?»<sup>2</sup> «Еще позвольте вам сказать, не поспорит ли с вами Капнист? Правда, он пел рабство и истребление слова рабство: но там есть кое-что и свободного <...>

Свободу пел на языке неволи,  
В оковах был и твой поэт!

Какие стихи! Только, право, возмутительные. Как будто Вы в Алжире! Какая прекрасная пьеса! Только и страшно! Уж верю мы не увидим ее печатной»<sup>3</sup>.

Фовицкий не случайно вспомнил Радищева. Как ни далека была общественно-политическая концепция Вяземского от идей крестьянской революции, стихотворение отзывается чтением оды «Вольность», биографию автора которой, как мы видели, Вяземский собирался в это время писать. Мы уже приводили данные о стремлении Вяземского в 1818—1819 гг. как можно более полно познакомиться с творчеством Радищева. Конечно, и знаменитая ода, именно в это время привлекавшая внимание Пушкина, не осталась ему неизвестной.

Стилистика и система образов оды Радищева, соединенная с ритмической структурой элегии, определили своеобразие стихотворения Вяземского, лирического и публицистического одновременно.

Можно было бы привести ряд параллелей между образами обоих стихотворений.

У Радищева:

Под игом власти, сей, рожденный,  
Нося оковы позлащены,  
Нам вольность первый прорицал<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 39, 39 об.—40.

<sup>2</sup> Там же. Л. 40.

<sup>3</sup> Там же. Л. 40 об.—41.

<sup>4</sup> Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 15.

У Вяземского:

Свобода! Пылким вдохновеньем,  
Я первый русским песнопеньем  
Тебя приветствовать дерзал  
В оковах был и твой поэт!<sup>1</sup>

Однако, конечно, не только к Радищеву восходили публицистическая фразеология и образы стихотворения Вяземского — источником их фактически являлась вся просветительская литература XVIII в. — русская и зарубежная. Легко можно установить параллели, свидетельствующие о подобном влиянии. Так, привлекая внимание Фовицкого своей противоцензурностью строки

Я вижу подданных царя,  
Но где ж отечества граждане? —

представляют собой пересказ одного из положений Фонвизина в его «Рассуждении о непременных государственных законах» «Где же произвол одного есть закон верховный <...> тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан»<sup>2</sup>

Однако стилистика социально-философской публицистики просветителей, толковавших об общих законах человеческого общежития, оказалась в стихотворении Вяземского растворенной во взволнованно-эмоциональной стихии байронической элегии. Последнее достигалось обилием субъективно-оцепочных эпитетов, риторических вопросов и восклицаний, создававших образ негодующего поэта, и эмоциональным беспорядком разностопной ямбической лирики, благодаря чему возникала иллюзия взволнованного речевого потока в духе монологов Чацкого. Вместе с тем стиль «Негодования» включал в себя поток злободневного политического материала, напоминающего уже не философский трактат, а газетную публицистику. Произведение типа радищевской оды говорило о природе человека и общества, о рождении и гибели деспотизма, но избегало затрагивать эксцессы текущей политики. Вяземский же намекает в своем стихотворении и на покушение Лувеля, и на «мистики придворное кривлянье»:

Зрел промышляющих спасительным глаголом  
Ханжей, торгующих учением святым, —

и на совсем свежие новости — разгром Магницким и Руничем Казанского университета:

Здесь стадо робкое ничтожных  
Витии поучений ложных  
Пугают именем твоим

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения С. 155—156

<sup>2</sup> Фонвизин Д. И. Собр. соч. В 2 т. М., Л., 1959. Т. 2. С. 255. Знакомство Вяземского, проявлявшего устойчивый интерес к творчеству Фонвизина, с этим документом не вызывает сомнений. Вяземский получил от Н. Муравьева его переработку «Рассуждения» Фонвизина. См. Пигарев К. В. «Рассуждение о непременных государственных законах» Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева // Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 340—342.

И твой сообщник — просвещенье  
С тобой, в их наглom ослепленье,  
Одной секирою разим

В стихотворении мы находим и оценку либеральных обещаний царя в 1818 г в свете решений конгресса в Троппау-Лайбахе<sup>1</sup>:

Там хищного господства страсти  
Последнюю уловкой власти  
Союз твой гласно признают,  
Но под щитом твоим священным  
Во тьме народам обольщенным  
Неволи хитрой цепь куют<sup>2</sup>

Это придавало стихотворению не только значение социально-философского суда над современным жизненным укладом, но и интерес политически-злободневный, животрепещущий, газетный. Обосновывая своеобразие своего метода, Вяземский писал: «Поэту должно искать нногда вдохновения в газетах, прежде поэты терялись в метафизике, теперь чудесное, сей великий помощник поэзии, — на земле. Парнас — в Лайбахе»<sup>3</sup>.

«Негодование» наиболее полно выразило умонастроения Вяземского в 1820—1821 гг. Вяземский считал, что «теперь не время осторожничать», и не скрывал своих взглядов. Сведения об этом, бесспорно, доходили и до правительственных кругов в Варшаве и Петербурге. Однако власти, и так уже встревоженные семеновской историей<sup>4</sup>, взглянули на поведение Вяземского и его общественные связи иначе после того, как офицерская «артель» Литовского полка и лично близкий к Вяземскому Габбе вступили в открытую борьбу с Константином Павловичем.

Борьба с офицерами аракеевской школы, фрунтманами и невеждами — коллизия, в высшей степени характерная для эпохи Союза Благоденствия. При этом застрельщиками столкновения выступают передовые офицеры, сторонники просвещения, конституционалисты, активные участинки антинаполеоновских освободительных войн (Габбе, например, был в армейском партизанском отряде), объединенные в дружеское общество — «артель». Показательно, что одним из самых острых вопросов сделался спор между

<sup>1</sup> Необходимо в связи с этим заметить, что широко используемый метод датировки произведений по упоминаемым в них событиям таит в себе известную опасность: поэт может возвращаться к событиям большей или меньшей давности в связи с логикой своего развития. Так, Пушкин откликнулся стихотворением «Кинжал» на убийство Коцебу в марте 1821 г, т е через два года после покушения Занда и год спустя после его казни. Упоминание в Noël'e варшавской речи может использоваться для датировки лишь при учете того, что лицемерие ее раскрылось современникам в свете решений конгресса в Лайбахе. В этом смысле события 1818 г вновь выплыли в сознании современников, но уже в новом освещении.

<sup>2</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения С. 156

<sup>3</sup> Остафьевский архив Т. 2 С. 171

<sup>4</sup> Анализ правительственной тактики в период «семеновской истории» и после нее см. Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960



противниками и сторонниками телесного наказания солдат. В 1820 г. группа свободолюбивых офицеров лейб-гвардии Литовского полка начала борьбу за изгнание двух офицеров-аракчеевцев, прославившихся жестоким обращением с солдатами<sup>1</sup>.

В мемуарах А. А. Одинцова события изложены следующим образом. А. А. Одинцов вспоминает, что он был участником «прапорщической шайки, устроенной с целью нанесения разных неприятностей полковнику Варпаховскому, чтобы принудить его выйти из полка. Варпаховский был нетерпим офицерами за его дурной нрав и жестокое обращение с солдатами, а в особенности за его историю с любимым и уважаемым в полку капитаном Николаем Николаевичем Пушиным, который сказал во фронте, что „ежели его батальонный командир Варпаховский станет бить солдат его роты, то он сделает с ним то же самое“»<sup>2</sup>.

Однако инициатором инцидента была не «шайка прапорщиков». Мемуары другого участника событий — Н. В. Веригина — свидетельствуют, что подлинными организаторами были входившие в «артель» ротные командиры. Видимо, ими была инспирирована и «шайка прапорщиков». Суть событий заключалась в следующем.

«Капитаны полка потребовали удаления двух старших офицеров — Марачинского и Колотова, как марающих мундир»<sup>3</sup>. Требование имело не случайный характер: «Оба эти офицера были переведены из армейских полков в л.-гв. Литовский полк и, как говорится, сели на голову тем офицерам, которые ни по воспитанию, ни по рождению не могли быть их товарищами»<sup>4</sup>. Первоначально «артель», куда входили ротные командиры («капитаны»), удалось организовать всю офицерскую общественность полка. Протест был поддержан и «полковниками».

Константин Павлович, собрав подавших жалобу офицеров, попытался уговорить их покончить дело миром. Однако одни из артельных вождей — Н. Пушин — вступил в резкий спор с великим князем. Когда Константин Павлович назвал жалобу «сплетней», Пушин крикнул: «Вы оскорбляете, ваше высочество, тот мундир, который носите сами. Закон дает вам право наказывать нас, но не ругать»<sup>5</sup>.

Пушин был арестован и предан военному суду. Тотчас же Габбе и близкие к нему офицеры развернули активную деятельность по спасению товарища. По инициативе Габбе собрано было среднее и младшее офицерство полка, которое решило начать коллективные действия протеста против ареста Пушина.

«В собрании капитанов и тех офицеров, которые входили в их круг, было решено, чтобы через полкового командира довести до сведения его высоче-

<sup>1</sup> В сознании властей события в Варшаве явно ассоциировались с настроениями в петербургских гвардейских полках (например, Измайловском).

<sup>2</sup> Русская старина. 1889. Ноябрь. С. 316.

<sup>3</sup> Там же. С. 309.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же. С. 311.

ства, что все бывшие капитаны у его высочества — участники в выражениях и ответах Пущина и что все просят одинаково судить их с Пущиным. <...> Петр Андреевич Габбе, друг Пущина, был главным направителем такого желания своих по чину товарищей<sup>1</sup>.

Вместе с тем сразу же была организована конспиративная переписка с Пущиным для того, чтобы обеспечить координированность действий.

«На другой день поутру, — пишет Н. В. Веригин, — я написал наскоро длинное послание к Пущину и под этим посланием подписал не свою фамилию, а Космополит. В этом послании я обвинял цесаревича во всех его выражениях и говорил, что он сам вынудил Николая Николаевича Пущина к возражениям и ответам, которые все офицеры полка разделяют с ним. Я предлагал Пущину оправдаться на суде так, чтоб не он был виноватым, а его высочество. Написав все мои мысли к оправданию Пущина, я отправился к Габбе, прочитал ему мною написанное и отдал ему мною написанное для отсылки к подсудимому»<sup>2</sup>.

В критические дни «артель» проявила большую активность. В одной из записок к Пущину тот же Веригин писал: «Мы действуем, но как — писать нельзя»<sup>3</sup>. Действия офицерской общественности увенчались полным успехом: Константин Павлович совсем не был заинтересован в том, чтобы в Петербург дошли вести о неблагонадежности его корпуса. Он предпочел разыграть сцену великодушия. Приговор военного суда был им демонстративно порван, «виновные» прощены. Это была явная победа «артели». Однако, как только борьба приняла столь острые формы, в среде офицеров произошел раскол. Не затронутое передовыми идеями высшее офицерство, видевшее во всем инциденте лишь защиту чести мундира, отошло в сторону. С этого времени «взгляд полковников не одинаков был со взглядом капитанов»<sup>4</sup>.

Вскоре произошел новый конфликт. Теперь причиной явилась попытка ограничить применение в полку телесных наказаний. Перепуганные «полковники» перешли при этом на сторону великого князя, выступив против основной массы офицерства полка. Как сообщает Веригин, «в 5-й роте Петра Андреевича Габбе один солдат передней шеренги сделал по команде „на караул“ какой-то темп ие<v>раз с другими». Полковник «Варпаховский подскочил к нему и приказал влить виноватому несколько ударов тесаком. Габбе, стоя во фронте, заметил на французском языке батальониному своему начальнику, что он наказывает лучшего солдата во всей роте»<sup>5</sup>. Варпаховский, прежде заискивавший перед Габбе и Пущиным и державшийся в полку их поддержкой, стремясь выслужиться перед великим князем, пригрозил Габбе арестом. «Пущин не вытерпел забывчивости глупца против всеми любимого и уважаемого Габбе, вышел перед своей ротой и закричал своим громким

<sup>1</sup> Русская старина. 1889. Ноябрь. С. 311.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 313.

<sup>4</sup> Там же. 1893. Февраль. С. 405.

<sup>5</sup> Там же. С. 406.

голосом, грозя рукой: — Я тебя... я тебя... горохового шута, проучу, я тебе покажу... картежнику, что ты!»<sup>1</sup>

Константин Павлович попытался уговорить Пушкина замять новое столкновение, однако удачи не добился. Между Пушкиным и великим князем произошла чрезвычайно бурная сцена. В результате Пушкин был снова арестован. Возглавленные Габбе офицеры полка пришли в чрезвычайное возбуждение. Начались сходки и бурные диспуты. «Самое шумное и более заметное собрание почти всех офицеров, от капитана до прапорщика, было у поручника Энгельгардта (члена „артели“). Здесь предлагалось в полном составе офицеров просить полкового командира, что всякую участь, какая бы ни предстояла Пушкину, готовы разделить с ним его сослуживцы»<sup>2</sup>.

Желая запугать офицеров, великий князь на учении учинил «разнос», загонял солдат и уехал, обозвав офицеров «бунтовщиками». После этого возбуждение в полку достигло предела. Все средние и младшие офицеры решили подать в отставку. «Общее негодование так было велико против слова „бунтовщики“, что ни полковой командир, ни бригадный не могли своим посредничеством прекратить шумного разговора офицеров между собой, а состоявшему в свите его высочества генерал-майору Жандру Габбе резко заметил, чтобы он не мешался не в свое дело»<sup>3</sup>.

Исход дела был горестным для «артели». Вслед за Пушкиным арестовали Габбе и Вернгина. Бумаги их были опечатаны, а сами они, после длительного пребывания под судом, разжалованы в солдаты.

Какое же имел отношение к этим происшествиям Вяземский? Анализ материалов убеждает в том, что имелась определенная связь между описанными событиями и неожиданным изгнанием Вяземского.

Настроения Вяземского, конечно, не были секретом для Константина Павловича и Новосильцева. Бесспорно, была замечена и его близость к Габбе, поскольку, как вспоминал А. А. Одинцов, Литовский полк был у великого князя «на дурном счету и за ним шпионничали более, нежели за польскими полками»<sup>4</sup>.

Константин Павлович был убежден, что события в Литовском полку связаны с каким-то заговором. Об этом свидетельствуют его слова во время ареста Пушкина: «О! Это не даром, эти дерзости я догадываюсь откуда идут. Дмитрий Дмитриевич [Курута], запечатать квартиру кантана Пушкина, приставить караул к запечатанной его квартире, где найдутся такие бумажки, которые покажут все замыслы г-на Пушкина»<sup>5</sup>. События в Литовском полку начали разыгрываться осенью 1820 г., то есть совпали со временем, когда правительство было особенно подозрительно по отношению к гвардейским полкам. Источники не дают возможности точно датировать, но, видимо, первый арест Пушкина произошел до запрещения Вяземскому возвращаться

<sup>1</sup> Русская старина. 1893. Февраль. С. 406.

<sup>2</sup> Там же. С. 413.

<sup>3</sup> Там же. С. 415.

<sup>4</sup> Там же. С. 318.

<sup>5</sup> Там же. С. 411.

в Варшаву. Осенью 1821 г. распространился слух об аресте Габбе. 1 октября 1821 г. Фовицкий писал уже изгнанному Вяземскому: «Ваш Габбе сделал какую-то величайшую глупость, нагрубил кому-то из начальников, и его чуть не отправили (а может быть, и отправили) в крепость. Только, право, это не за приязнь с вами, ибо я пишу к вам из Бельведера»<sup>1</sup>.

В этом письме характерно и «ваш Габбе», и заверение в том, что причиной ареста являлась не близость к Вяземскому. Видимо, последнее обстоятельство рассматривалось в Варшаве уже как подозрительное. Слух, сообщенный Вяземскому Фовицким, по всей вероятности, не подтвердился. Переписка Вяземского и Габбе позволяет предположить, что арест последнего произошел позже — в 1822 г. Насколько прочна была уверенность великого князя в наличии конспиративных связей между Вяземским и «артелью», свидетельствует слух, распространившийся сразу после ареста Габбе среди приближенных Константина Павловича. О нем сообщал Вяземскому позже и с *оказией* Фовицкий: «Пронесся слух, будто между письмами Габбе нашли одно ваше, которым вы рекомендуете ему познакомиться со мною, говоря, что я из числа *ваших*, что со мною он может говорить *откровенно*, что все, что я ему скажу, он должен принимать за истину»<sup>2</sup>.

Габбе недаром предупреждал Вяземского о ненадежности Фовицкого. Последний, перепугавшись, сразу же написал Вяземскому письмо, рассчитанное на перлюстрацию<sup>3</sup>. Позже он пытался превратить дело в шутку, но в напряженной для Варшавы и Вяземского обстановке 1822 г. за высылкой могли последовать и другие репрессивные меры. Письмо имело явно провокационный характер.

Расчет Фовицкого частично оправдался — письмо было перехвачено, к Вяземскому не попало и, видимо, сыграло определенную роль в реабилитации его автора. До нас его содержание дошло лишь в позднейшем, явно смягченном пересказе самого Фовицкого: «Писавши к Вам, как тельерь помню, шутил над этим и спрашивал у Вас: „Что такое значут *ваши*, сколько *вас* и *кто*, и как я там затесался?“»<sup>4</sup>

Арест Габбе, Пушина и Веригина (первые двое — «капитаны») снял голову с офицерской «артели», но не прекратил борьбы за спасение пострадавших. Видимо, в эту пору и выступила активно «шайка прапорщиков». О характере их деятельности судить трудно ввиду почти полного отсутствия

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 11 об. Бельведер — дворец в Варшаве, резиденция Константина Павловича.

<sup>2</sup> Там же. Л. 31 об.

<sup>3</sup> Письмо было послано по почте, хотя обычно для передачи столь шекотливых сведений Фовицкий пользовался *оказией*. Бросается в глаза разница тона в письмах Фовицкого, посылаемых по почте и с *оказией*. В первых неизменно находим неумеренные восхваления Константина Павловича, во вторых — отношение к властям ироническое. Это очень хорошо воссоздает осторожный и уклончивый характер Фовицкого.

<sup>4</sup> Не получая длительное время от Вяземского писем, Фовицкий считал, что его письмо дошло и послужило причиной разрыва (см.: РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 31 об.).

данных. Однако о самом факте ее свидетельствует беглое упоминание в мемуарах А. А. Одинцова. Есть и другое любопытное свидетельство.

Габбе был поэтом, и стихи его ценились в дружеском кружке. Для знавших его он был «умным, но поэтическим Габбе»<sup>1</sup>. Арест его воспринимался сквозь призму литературно-романтических представлений. Узнав об этом событии, Вяземский прислал Габбе литературную новинку — «Шнльонского узника» в переводе Жуковского, а сам Габбе написал, с явным намеком на свое собственное положение, элегию «Бейрон в темнице». Эпизод ареста Байрона в Павии использован для того, чтобы нарисовать образ свободолюбивого поэта, гонимого деспотизмом. Байрон —

Свободы, красоты и мужества поэт.

Высказываемое устами Байрона понимание задач поэзии вполне соответствует декабристскому истолкованию этого вопроса:

Я счастлив был, когда поэзией высокой  
Слезу участия мог из очей извлечь;  
Исхитить из души глас совести глубокой  
Иль из руки тиранской меч.

Габбе недвусмысленно выражает свое сочувствие конституционному порядку:

Где человек, как мир, под сению закона,  
Свершает поприще свое!

Ввиду большого интереса, который представляет это никогда не привлекавшее внимания исследователей стихотворение, приводим его текст полностью. Примечания под строкой принадлежат Габбе. Текст воспроизводится по литографированному экземпляру, сохранившемуся в бумагах Вяземского<sup>2</sup>.

### БЕЙРОН В ТЕМНИЦЕ<sup>3</sup>

Элегия

Последний солнца луч погас за Аппенином;  
На стогнах Павии умолк народный шум.  
Шотландии берегов туда за смелым сыном  
Несется окрыленный ум.

Ты ль это, коему дивится современник,  
Чьей лире внемлет свет, как голосу веков,  
Ты ль, в мрачности глухой, дни, как Шиллонский пленник,  
Ведешь средь тягостных оков?!

<sup>1</sup> Русская старина. 1892. Ноябрь. С. 295. Весьма любопытна последовательность действий. Борьбу за поддержанье чести гвардейского мундира начинают «капитаны», поддержанные «полковниками». Вопрос приобретает политический оттенок и приводит к столкновению с великим князем. «Полковники» переходят на сторону власти, зато в борьбу втягиваются «прапорщики». И наконец, после ареста «капитанов» к «прапорщикам» переходит инициатива.

<sup>2</sup> ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского. Ф. 167. № 89.

<sup>3</sup> Сия элегия написана по случаю заточения л. Байрона в Павии за то, что когда пришел к нему некогорый военный, с коим вышла у них ссора, то слуга Байрона, вступаясь за своего лорда, убил его противника. (Примеч. П. А. Вяземско.?).

Ты ль это, доблестный питомец Альбиона,  
Свободы, красоты и мужества поэт,  
Ты ль зришься в горести, отторгнутый от лона  
Веселий, как другой Манфред?

Но что! Твой ясный лик как будто оживился,  
Каким-то счастьем взор снова возгорел;  
Светильник твой потух, но пред тобой открылся  
Небесный свод — и ты запел:

«Британия! Страна Шекспира и Ньютона,  
Страна, где я вкусил и жизнь, и бытие,  
Где человек, как мир, под сению закона  
Свершает поприще свое!

Приветствую тебя из сей темницы дальней,  
В глубокой мрачности вздыхаю о тебе,  
Твой образ льет елей моей душе печальной  
В сей тяжелой, горестной судьбе.

О, юность! Ты в мечтах меня обворожила,  
О, жизнь! Я, кубок твой держав, того не зрел,  
Что пена лишь края той чаши серебрила<sup>1</sup>,  
И, жизнью упоенный, пел!

Но песни бытия могли ль мне быть заменой?  
Воображение звало меня на юг:  
Там небо чистое, там бор всегда зеленый  
И пышный, ароматный луг.

Туда помчал меня корабль с стремительностью мысли,  
Туда, где некогда жил в неге гордый мавр,  
Где скалы над водой ужасные нависли  
И вечно зеленеет лавр.

И ты, отечество полубогов, героев,  
О, Греция, была ль забыта мной когда?  
Я пел твой стыд — и тьмы одушевленных строев  
Тебя спасают от стыда.

В окрестностях Афин, на бреге Саламины,  
Любил я соловья внимать в тиши почной;  
И горы, и ручьи, и на полях руины  
Гласили о веках со мной.

Я видел все, что зреть и славно, и достойно,  
И, жажду знания желая утолить,  
Бросался в Гелеспонт и сей пролив спокойно  
Дерзал и без любви преплыть.

И ты, о славный град тиранския свободы,  
Супруга Адриана, на Океане Рим,

<sup>1</sup> Выражения подчеркнутые принадлежат самому Байрону, упоминаемые же: Шиллонский пленник, Манфред, Кали и Корсар — суть известные сочинения лорда. (Примеч. П. А. Вяземского).

Венеция! Тебя, неся на жертву годы,  
Я посвящал мечтам моим.

Я счастлив был, когда поэзией высокой  
Слезу участия мог из очей извлечь,  
Исхитить из души глас совести глубокой  
Иль из руки тиранской меч.

*Но древо знания, увы! не жизни древо!*  
Кто более страдал, лишь тот один мудрец;  
Утешить не могла меня прелестна дева,  
Ни слава... сей мииутный льстец.

В супружестве, в любви поэт непостоянный.  
Отец бездетный здесь, отчизны вдалеке,  
Кто мог бы к пристани меня вести желанной,  
Какой повериться руке?

Сомненье Каина, таинственность Манфреда  
Весь наполняют дух, все сердце тяготят;  
Завидна участь мне твоя, певец Готфреда:  
Тебя герои защитят.

Рипальдо и Танкред: их меч благочестивый,  
Их провидению открытые сердца  
Промчат через толпу, поэт боголюбивый,  
Тебя вселенной до конца.

Но более я вам завидую, поэты,  
Вам, коих чувства, души небесный жар,  
Земною лирою век не были воспеты.  
И вы, не покидая лар,

В сердечной простоте вкушаете блаженство!  
Для вас зари восход есть мира торжество;  
Для вас прекрасный день есть жизни совершенство,  
Природы роскошь, пиршество.

Вы любите цветам и зелени дивиться,  
Внимать журчанию ручья и до росы,  
Прельщены соловьем, на берегу забыться,  
Не видя, как бегут часы.

Мне, мне другой удел! Колеблемый судьбою,  
Как брошенный корабль грозою между скал,  
От страха и надежд я гордою душою  
Спасись несчастьем желал.

Желал — и вот оно! *Хаос непостижимый,*  
*Все чувства души в одно совокупа,*  
*Теснит меня, и бог ужасный, но незримый*  
*Гласит: я предварял тебя.*

Все кончилось! Едва вступил в житейско поле  
И из конца в конце то поле пройдено,  
Увы! *Есть смертные, кому в жестокой доле*  
*Достигнуть лета не дано!»*

Так пел Бейрон. Лице британца возгорелось,  
И на глазах его блеснули две слезы;  
Казалось, зарево вечернее зарделось,  
Гоня следы дневной грозы.

Темница ветхая вяла певцу Корсара,  
И чувство горести тюремщик ощутил;  
И узник за стеной божественного дара  
Впервые сладости вкусил.

Италия! Земля природы и искусства,  
Почто, подобясь Армиде красотой,  
Зовешь в сады син: там услаждаешь чувства  
И гроб готовишь золотой?

А вы, о гении, лишённые приюта,  
Вы, Бейрон, Дант и Тасс, герои без войны,  
Для вас не создана в теперешнем минута,  
Но веки в будущем даны.

*Варшава*

Связь темы стихотворения с судьбой его автора подчеркивал сам Габбе в письме к Вяземскому: «Во время заточения моего воспел я самого Байрона, который, как и мы, бедные, также в темнице, если верить газетам. Наше состояние с ним было бы одинаковое, но одно обстоятельство делает его в глазах моих пресчастливым человеком: русский аудитор не будет задавать ему запросных пунктов, а польские уроженцы не будут его судьями»<sup>1</sup>.

Доведение подобного стихотворения до сведения общественности было бесспорным вмешательством в борьбу Габбе и Пущина с Константином Павловичем. В связи с этим большой интерес представляет неизвестно кем осуществленное литографированное (явно без цензуры!) издание стихотворения Габбе в Варшаве в 1822 г. Это уникальное явление в истории подпольной поэзии 1820-х гг. до сих пор не привлекало внимания исследователей. Между тем сам факт использования литографского станка представляет значительный интерес для изучения агитационных приемов нелегальной литературы 20-х гг.<sup>2</sup>

Варшавские пропагандисты поэзии Габбе находились в каких-то сношениях с Вяземским. По крайней мере, единственный дошедший до нас уникальный экземпляр этого издания сохранился именно в бумагах Вяземского. Со своей стороны, и Вяземский предпринимал шаги в защиту Габбе — он организовал опубликование элегии в «Сыне отечества». Взятый сам по себе, текст стихотворения не содержал ничего запретного и, вероятно, не вызвал

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 9 об.—10.

<sup>2</sup> На эту сторону вопроса, применительно к декабристам, было обращено внимание Ю. Г. Оксманом в статье «Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века» (в сб.: Очерки из истории движения декабристов. М., 1954.)



цензурных осложнений. Совершенно иной смысл приобретал он в связи с судьбой автора.

Между арестованным Габбе и высланным из Варшавы Вяземским продолжала поддерживаться связь. Вяземский находился в курсе всех варшавских происшествий. Еще будучи на свободе, Габбе сообщал Вяземскому в письме от 8 мая 1822 г. о втором аресте Пушкина: «Может быть, вскоре увидите Вы по приказам наш полк раскассированным: кого разошлют по крепостям, кого выпишут в армию, кого произведут в солдаты. Во всяком случае, мы [готовы]<sup>1</sup> решились — остаться честными людьми, восьмилетнее терпение насилий всякого рода не уменьшает правоты наших требований»<sup>2</sup>.

Но уже в следующем — не датированном — письме Габбе вынужден был сообщить и о собственном аресте: «Знаете ли, в каком состоянии застали меня письма ваши? Сидящего безвыходно на квартире и видящего ежеминутно приставленного к дверям часового, который входит каждый раз, когда кличу своего человека, так точно, как за тиранами в трагедиях и мелодрамах. Словом, я арестован и нахожусь под судом, который уже кончился и приговорил меня к лишению живота. Вы думаете, уже не в числе ли я неаполитанских угольщиков?.. Нет, любезнейший князь! Я оставался все время, как и в бытность Вашу, в числе честных людей в Варшаве, и на этом-то основании преследуют меня вместе с Пушкинным и еще одним офицером, бывшим студентом Казанского университета»<sup>3</sup>.

Слова Габбе, конечно, не следует понимать в смысле противопоставления карбонариев «честным людям». Смысл их иной: быть честным человеком в Варшаве столь же опасно, как и заговорщиком в другом месте. Далее Габбе излагает ход событий:

«Причиною сего нового преследования вот что. Во время суда над Пушкинным было нам ученье, которым были недовольны<sup>4</sup>, и, в пылу гнева, назвали полк *бунтовщиками*. Офицеры (разумеется, кроме старших) пошли просить о увольнении их от той службы, где могут они слыть бунтовщиками, и — после многих дипломатических переговоров — кончилось все примирением, которое показалось для всех искренним, ибо сопровождается было слезами и поцелуями. Между тем съездили в Вильну, где был в то время государь, а по приезде своем и по осмотрении бумагам Пушкина *нашли* у него письма мои и другого офицера, кои все относились к прежнему над ним суду и в коих мы по-приятельски даем ему советы, как оправдаться. Сверх того отыскали записку мою, по-итальянски писанную, в которой, между невинными шутками, даны более смешные, нежели бранные эпитеты двум начальникам моим <...> Но полно об этом траурном предмете: я заговорился, как Мария Стюарт перед своею смертию. Должно прибавить только, что истинная моя вина есть *une espèce de popularité que j'ai acquis par*

<sup>1</sup> Зачеркнуто.

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 5 об.

<sup>3</sup> Там же. Л. 7. Упомянутый «офицер» — Н. В. Веригин.

<sup>4</sup> Габбе здесь и дальше избегает упоминаний великого князя.

dix ans de service dans ce même regiment: c'est là ce qui doit me perdre<sup>1</sup>. Я не раз был обманут, но могу сказать с Валленштейном:

Nicht deine Klugheit siegte über meine,  
Dein schlechtes Herz hat über mein gerades  
Den schädlichen Triumph davongetragen<sup>2</sup>.

Вы советовали мне заняться Шиллером: эта мысль польстила моему самолюбию и воображению, но я чувствую себя ниже моего предмета <...> надобно прежде развязать разыгрываемую здесь немецкую трагедию: говорю немецкую, ибо она продолжается уже около году»<sup>3</sup>.

Приведенное письмо позволяет внести в разбираемый вопрос ряд уточнений. Письмо не датировано, но, бесспорно, писано в конце мая — начале июня 1822 г. Указание на то, что дело тянется около года, позволяет определить, что начало истории преследований Габбе и запрещение Вяземскому вернуться в Варшаву относятся к одному времени — весне 1821 г.

Не менее важно и сообщение о том, что после примирения офицеров Литовского полка с великим князем дело неожиданно получило новое направление в результате свидания последнего с царем в Вильно.

Свидание, о котором идет здесь речь, произошло во время пятнадцатимесячного похода гвардии в Западный край — мероприятия, которым царь рассчитывал заглушить «либеральный дух» гвардейских полков. В Вильно гвардия оказалась весной 1822 г. Настроенный после семеновской истории по отношению к гвардии весьма недоверчиво, царь, видимо, потребовал дальнейшего расследования и строгого наказания виновных, опасаясь влияния такого примера на другие полки. Подобные опасения не были беспочвенны — варшавская история, конечно, не осталась тайной для гвардейских офицеров. В этом смысле показательно чрезвычайное сходство с нею известной «норовской» истории, произошедшей в Вильно весной 1822 г.: в ответ на грубость, допущенную великим князем Николаем Павловичем по отношению к декабристу В. С. Норову, все офицеры полка решили уйти в отставку. Урегулировать это дело стоило Н. Ф. Паскевичу многих хлопот<sup>4</sup>.

Несомненный интерес представляет письмо Габбе и тем, что проливает свет на содержание литературных бесед в кружке Вяземского в Варшаве. Упомянутый Габбе совет заняться Шиллером имел для Вяземского глубокий смысл. Шиллер, как и Байрон, воспринимался Вяземским в качестве поэта-

<sup>1</sup> «Некоторый род популярности, которой я добился за десять лет службы в этом же самом полку: вот что меня погубило» (*фр.*).

<sup>2</sup> Не ум твой верх взял над моим: победу

Твоя душа лукавая над честной

Моей душой постыдно одержала.

Пер. Каролины Павловой. Цитата из трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна» (д. II, явл. 9).

<sup>3</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 7 об.—8 об.

<sup>4</sup> См.: Поливанов Н. В. С. Норов // Русский архив. 1900. № 2; Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1947. С. 258—259.

борца, поборника человеческих прав. В юности Вяземский, видимо, не был затронут влиянием Шиллера. В 1816 г. он еще представлял себе творчество немецкого поэта сквозь призму литературных вкусов Жуковского. По крайней мере, в стихотворении «Деревня» Шиллер трактуется как поэт «сердечного воображения»:

О Шиллер, как тебя прекрасно отражало  
Поэзии твоей блестящее зеркало, —

а из всех произведений Шиллера названо лишь «Resignation»<sup>1</sup>.

Перелом в понимании творчества Шиллера наступил — что очень характерно — в 1819 г. При этом представляет интерес, что внимание Вяземского привлекло не бунтарство Карла Моора, а освободительный пафос «Вильгельма Телля». 24 июля 1819 г. он писал Тургеневу из Варшавы: «Здесь на днях давали „Вильгельма Телля“. Обрезано, исковеркано, дурно играно, а слезы так из глаз и брызжут, слезы восторга, слезы священные, из коих одна стонет реки слез, пролитых за какую-нибудь „Федру“ или „Ифигению“»<sup>2</sup>. Так же истолковывал Шиллера и Габбе, писавший несколько позже Вяземскому: «Все ваши мысли совершенно отвечают моим понятиям литературным»<sup>3</sup>. Позже, уже в заточении, Габбе перевел «Песнь радости». Текст перевода до нас не дошел, но в руках Вяземского он был<sup>4</sup>.

Вяземский не ограничился содействием опубликованию «Бейрона в темнице» в «Сыне отечества» — он предпринял и другие шаги по популяризации творчества Габбе, явно с целью повлиять на судьбу последнего. Эта элегия позже привлекла внимание Кюхельбекера, который, однако, ошибочно определил ее автора<sup>5</sup>.

Еще до ареста Габбе написал «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн». Выбор темы, видимо, был не случаен. Творчество Сталь как автора «Взгляда на главнейшие события французской революции» было в центре политических дебатов 1818—1819 гг. и живо интересовало декабристов. Н. Тургенев предлагал И. Пушкину написать рецензию на эту книгу для его проектируемого журнала: «Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу Stael „*Considérations sur la Révolution française*“ и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее»<sup>6</sup>. Большое впечатление книга Сталь произвела и на Вяземского. Как писал к нему Карамзин: «Вы же переводите конституцию душеспасительную и читаете г-жу Сталь о конституции душеспасительной»<sup>7</sup>. Замысел Габбе определился в атмосфере обсуждений книги в кружке Вяземского. В начале 1822 г. (цензурное разрешение 5 января) брошюра была отпечатана в Петербурге. Вяземский в не дошедшем до нас письме разобрал труд своего друга. Насколько можно судить по

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 128—129.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 274.

<sup>3</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 14.

<sup>4</sup> Там же. Л. 11.

<sup>5</sup> Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929. С. 140.

<sup>6</sup> Пушкин И. И. Записки о Пушкине. Письма. С. 72.

<sup>7</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 55.

ответному письму Габбе, оценка французской революции рецензенту показалась слишком положительной. В самом деле, Габбе не скрывал своего сочувственного отношения к идеалам 1789 г. В письме к Вяземскому он уточнил свое понимание событий во Франции, подчеркнув, что стоит на стороне «просвещенных друзей революции»<sup>1</sup>. Якобинцы, разумеется, в их число не попадали. В печатном тексте Габбе также осуждал революционеров, но вместе с тем резко подчеркнул благодетельные последствия революции и связал с ними то литературное направление, которому сочувствовал, — романтизм. «Франция из слабой монархии сделалась сильною республикой: все изменилось в отчизне предубеждений! Правление, общество, самый язык получили другой вид, другое направление; могла ли словесность не разделить общего изменения дел и народа?»<sup>2</sup>

Стремясь привлечь внимание общественности к судьбе Габбе, Вяземский не ограничился разбором брошюры в дружеском письме и решил посвятить ей рецензию.

\*\*\*

1821—1822 гг. — рубеж не только на жизненном пути Вяземского. Это также рубеж в его идейной позиции, как и в истории декабристского движения.

Как мы видели, ранний этап декабристского движения, этап Ордена Русских Рыцарей и Союза Спасения — организаций, еще не умевших отделить тактику революции от тактики заговора, — прошел мимо Вяземского. Это тем более заметно, что лично Вяземский был близок ко многим руководителям тайных организаций (особенно Ордена Русских Рыцарей) и, при малейшем сочувствии к избранному ими пути, легко мог войти в их круг. Неучастие в деятельности тайных обществ означало несочувствие их тактической линии.

Совершенно по-иному складывались отношения в период деятельности Союза Благоденствия. В это время тактика тайного общества предусматривала союз с широкими слоями передовой общественности. Перевороту в общественно-политической жизни России должны предшествовать годы пропагандистской работы. Эта деятельность мыслилась как осуществляющаяся совокупными усилиями членов тайного общества и широкого круга привлекаемых ими сторонников прогресса. Практические действия, предпринимаемые членами тайных обществ, были при этом таковы, что участвовать в них мог гораздо более широкий круг лиц, чем те, кто непосредственно разделял всю совокупность идей революционных деятелей. На данном этапе развития декабризма оказывалось вполне возможным действовать в соответствии с целями общества и не принадлежать к нему. Более того, целый ряд авторитетных свидетельств указывает, что в определенных случаях члены Союза

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1705. Л. 9.

<sup>2</sup> Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн. Соч. Петра Габбе. СПб., 1822. С. 11.

Благоденствия сознательно не вовлекали в тайное общество лиц, в сочувствии которых были и без того уверены. Как ни парадоксально звучит это положение, оно находит подтверждение в источниках. И. Д. Якушкин, вспоминая позже о Н. В. Левашеве и его дяде Тютчеве, писал: «Ни Левашев, ни Тютчев не были членами Тайного общества, но действовали совершенно в его смысле <...> В это время таких людей, как Левашевы и Тютчев, действующих в смысле Тайного общества и сами того не подозревая, было много в России»<sup>1</sup>. В. Ф. Раевский недвусмысленно писал об этом в своих записках: «Многих достойных не принимали только потому, что уверены были в сочувствии их к делу»<sup>2</sup>.

В. И. Штейнгель, во многом верный старым установкам, доказывал Рылеву, что не следует принимать издателя Селивановского, ибо «он и без привлечения его в общество содействует достижению его цели изданием книг, распространяющих свободные понятия»<sup>3</sup>. Как же в общих чертах строилась «кадровая политнка» Союза Благоденствия?

В подготовительный период Союз Благоденствия рассчитывал захватить ключевые позиции в государстве (в первую очередь — в армии) и завершить подготовку общественного мнения. Для осуществления первой задачи надо было расширять круг членов общества за счет людей, занимающих государственные должности. Большое внимание уделялось тому, чтобы окружить известных государственных деятелей членами тайных обществ. При приеме новых членов особое предпочтение отдавалось офицерам, которых в дальнейшем следовало продвинуть на основные командные должности. Поскольку этим людям предстояло действовать на последнем этапе работы общества, осуществлять переворот, они должны были быть революционерами, быть в курсе окончательных целей, то есть принадлежать к обществу.

Иным было положение тех, кто должен был воздействовать на общественное мнение. Это должны были быть люди, ненавидящие самодержавие и крепостное право. Однако быть осведомленными в тактике переворота, знать о существовании антиправительственной организации (хотя большинство из них знало, а остальные догадывались) и тем более участвовать в конспиративной деятельности им было совершенно не обязательно. К подобным людям принадлежали, в первую очередь, писатели, поэты, литературные деятели. Обращает на себя внимание тот факт, что, хотя именно в период деятельности Союза Благоденствия симпатии к освободительным идеям распространялись в литературе очень широко, количество принятых в тайное общество поэтов было весьма незначительным. Ни Пушкин, ни Вяземский, ни Грибоедов, ни Гнедич, ни О. Сомов, ни Кюхельбекер, ни Рылеев, ни Бестужев, сочувствие которых идеалам свободы в эту пору уже было общеизвестно, членами Союза Благоденствия не были.

<sup>1</sup> Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. С. 47—48.

<sup>2</sup> Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 84.

<sup>3</sup> Общественные движения в России в первую половину XIX в. Т. 1. С. 305.

Есть своя логика в том, что Раич и даже Жуковский были приглашаемы в Союз Благоденствия, а известные своим свободолобием литераторы такого приглашения не получили. Раич призван был воздействовать на студентов университета, Жуковский — на придворные круги. Это были *должности*, на которых важно было иметь своего человека, а если место занято человеком иных воззрений — постараться его привлечь к обществу, распропагандировать. Названные же выше писатели должностей не занимали, пропагандировать их было незачем — они и так «действовали в смысле Тайного общества». Действовал в этом смысле в рассмотренный период и Вяземский. Стихами, эпистолярной и устной пропагандой, распространением из Варшавы запрещенной литературы (этим он занимался очень широко), стремлением организовать журнал, участием в разнообразных формах давления на правительство, попыткой создания антикрепостнического общества, своим личным авторитетом поэта-свободолюбца Вяземский активно боролся за свободолобивые идеалы, то есть осуществлял именно то, чего ждал Союз Благоденствия от литераторов. Более того, в ходе этой деятельности, как мы видели, Вяземский переживал все более тесное сближение с установками Союза Благоденствия, постепенно проникаясь идеей общественной организации антиправительственных сил. В этом смысле то, что Вяземский разделял судьбу жертв первой волны правительственных репрессий, — не случайно. В 1821—1822 гг. последовали ссылка Катенина, репрессии по доносу Грибовского против ряда деятелей Союза Благоденствия. По другому его же доносу был разгромлен оживившийся было Орден Русских Рыцарей: Орлов и Меншиков уволены в отставку, Мамонов арестован и поселен под надзором в Москве. В ряду этих фактов находится и запрещение Вяземскому вернуться в Варшаву.

Как же сложилась общественная позиция Вяземского в новый период его деятельности?

Время после Московского съезда 1821 г. было для декабристского движения критическим и переломным. Сроки выступления приблизились. По словам В. Ф. Раевского, к 1823 г. «решено было усилить Общество и действовать решительно. Цель Общества — произвести военную революцию»<sup>1</sup>. Одновременно происходил чрезвычайно существенный для Вяземского процесс отсева определенной части прежде активных членов тайного общества. А это, в свою очередь, было связано с более общим явлением: размежеванием декабристов и дворянских либералов. Процесс этот становится заметным на поверхности литературной жизни начиная с 1823 г.

С момента перехода общества к таким задачам и таким тактическим средствам, которые даже частично не могли быть доведены до ушей непопавших, изменилось и место поэта среди конспираторов. Для того, чтобы выразить идеи революционного движения, сделалось необходимым принадлежать к нему лично и организационно. Поэт не просто пропагандист свободолобия — он сознательно и до конца разделяет убеждения и тактику

<sup>1</sup> Лит наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 90.

революционных организаций. Поэзия тайного общества делается или строго конспиративной<sup>1</sup>, или вырабатывает систему тайнописи, намеков, понятных тому кругу, к которому поэт адресуется.

Размежевание революционного и прогрессивно-либерального лагерей, явно наметившееся в литературе 1823—1825 гг.<sup>2</sup>, тем более задевало Вяземского, что с представителями обоих направлений его связывали узы длительной дружбы. Да и мировоззрение Вяземского определенными своими сторонами было связано и с тем и с другим лагерем. Мы увидим, как это определило сложность отношений Вяземского с организационными центрами двух лагерей — альмамахами «Северные цветы» и «Полярная звезда».

То, что в рассматриваемые годы разрыв между Вяземским и быстро развивающимся движением декабристов все возрастал, — непреложный факт. Однако было бы ошибочным, исходя из этого, делать вывод о некоем «поправении» Вяземского в эти годы. Бесспорно, для определенной части либерально или даже революционно настроенных деятелей 1810-х гг. разрыв с революционным лагерем был вместе с тем отходом от прогрессивных идеалов вообще<sup>3</sup>. Однако возможен был и другой путь. Либеральный лагерь в начале 1820-х гг. в определенной своей части еще не исчерпал до конца своих прогрессивных возможностей. Деятели этого лагеря, все более резко расходясь с декабристами, вместе с тем могли еще двигаться не по пути сближения с правительственной реакцией, а в ином направлении. Заполняя само понятие свободолюбия другим содержанием, чем декабристы, Вяземский тем не менее шел в эти годы по пути углубления критики реакции, обострения отношений с правительством. Вера в близость общественных перемен, стремление их ускорить не покидали Вяземского и в эти годы.

Так, осенью 1822 г. в Остафьеве Вяземский приступает к созданию серии переводов из произведений радикальных философов и писателей конца XVIII в.<sup>4</sup> Обращение к переводам не случайно — Вяземский явно рассчитывал на печать. Возможно, перед нами — заготовки материалов для журнала — органа «Общества переводчиков», создать которое Вяземский в эту пору собирался. Запретить переводы из всемирно известных авторов цензуре было несравненно труднее, чем накладывать «veto» на сочинения русских авторов.

<sup>1</sup> В условиях полицейско-цензурного режима 1820-х гг. и «Негодование» превращалось в конспиративную лирику, однако ясно, что в этом смысле между ним и агитационно-сатирическими песнями Рыльева, равно как и его «Гражданином», — качественная разница.

<sup>2</sup> См. коммент Ю. Г. Оксмана к письму Рыльева Ф. Булгарину (Лит. наследство М., 1954 Т. 59 С. 147—150).

<sup>3</sup> И. Д. Якушкин вспоминал: «Александр Муравьев вышел в отставку и женился. Жена его, бывши невестой, пела с ним Марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика, вследствие чего он отказался от Тайного общества» (Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма С. 20), ср. Восстание декабристов М., Л., 1927 Т. 3 С. 8, Герасимова Ю. И. А. Н. Муравьев и его записки // Декабристы. Новые материалы М., 1955 С. 149.

<sup>4</sup> Папка этих работ — среди них переводы из Рейналя, Тома, философов-энциклопедистов — хранится в РГАЛИ Ф. 195 Оп. 1 Ед. хр. 932.

Можно было надеяться, что продвижение текстов в печать — вещь осуществимая. А между тем сами отрывки были подобраны так, что в контексте событий начала 1820-х гг. приобретали остроактуальное звучание. Останемся на одном примере.

В упомянутой нами папке содержится перевод из Тацита<sup>1</sup>. Возможно, Вяземский и не знал о доносе Грибовского, хотя, находясь в 1821 г. в Москве, общаясь с М. Орловым, Охотниковым, Граббе, Н. Тургеневым, Ф. Глинкой — все это были его ближайшие приятели и люди, ему безусловно доверявшие, — он вполне мог быть в какой-то мере осведомлен и об этом. Однако сам факт активизации политического сыска после семеновской истории был настолько очевиден, так прямо касался личной судьбы самого Вяземского, что невозможно предположить, чтобы перевод отрывка о шпионаже (в то время, когда Грибоедов создавал образ Загорецкого) был им предпринят вне связи с размышлениями над современностью. Отрывок, озаглавленный «Тиранство и оговоры в Риме», воспринимался переводчиком как вполне актуальный. Вот его текст:

«Возник тогда род людей, которые под именем подложных мстителей законов были предателями закопов, живущие обвинением и промышленные клеветой, они всегда готовы были предать невинность злобе и богатство корыстолюбью. того все было государственным преступлением. Преступник был тот, который требовал ненарушимости терзаемых прав человечества; восхвалял доблесть, сетовал о несчастье, возвращал искусства, возвышающие душу, взывающие к священному имени закона — были равно преступники.

Поступки, речи, молчание самое были обвиняемы. Что говорю? И мысль была допрашиваема, ее истязали, чтобы сделать ее виновною. Таким образом, искусство доносов все заражало, и доносители были обременяемы богатствами государства, степень достоинств их соразмерялась со степенью их стыда. Где искать прибежища в государстве, в коем режут невинность именем законов, защищать ее обреченных? Часть даже и не давала себе труда прибегать к тщетному обряду законов. Власть произвольно, по желанию своему, заточала, казнила ссылкой или смертью. Таково было сие правосудие тираническое, которое присвоит воле человека силу приговора законов»<sup>2</sup>.

Мысль Тацита была вполне согласна с ходом размышлений самого Вяземского о шпионстве, политический сыск — орудие в руках деспотизма и его порождение. Противопоставление «воли человека» «силе приговора законов» вполне укладывалось в конституционалистскую программу переводчика

<sup>1</sup> Об отношении русской передовой общественности 20-х гг. к Тациту см. *Амусин И. Д.* Пушкин и Тацит // Пушкин Временник пушкинской комиссии М., Л., 1941 Т. 6, *Гиппиус В. В.* Александр I в пушкинские «Замечания» на *Анналы Тацита* // Там же, *Якубович Д. П.* Античность в творчестве Пушкина // Там же, *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов СПб., 1909 С. 220—228, *Покровский М. М.* Пушкин и римские историки // Сб. статей, посвященных В. О. Ключевскому М., 1909, *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов М., Л., 1958 С. 155—207

<sup>2</sup> РГАЛИ Ф. 195 Оп. 1 Ед. хр. 932 Л. 1 об.



Несмотря на усиление реакции, настроение Вяземского не было пессимистическим — он верил в близость торжества свободолюбивых идеалов.

В 1822 г. Пушкин из Кишинева, призывая Вяземского предпринять «постоянный труд» «в тишине самовластия», предсказывал: «Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России»<sup>1</sup>. Смысл слов о времени, когда «будут нужны люди», раскрывается словами М. Орлова из письма А. Раевскому: «Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и потом они уже не поднимутся, потому что тогда будут нужны честные люди»<sup>2</sup>.

Те же мысли и почти в тех же словах Вяземский выразил в письме Тургеневу от 28 августа 1823 г. Вяземский, как и Орлов, противопоставляет себя людям, которые трутся «у подножия чего-то» (то есть трона). «Когда придет пора людей в России, тогда дело другое»<sup>3</sup>. Конечно, представления о том, какими путями придет эта «пора людей», у М. Орлова и Вяземского были глубоко отличными. Однако сам Орлов осенью 1821 г. считал, что между их идеалами происходит сближение. Он писал Вяземскому: «По всем дошедшим до меня слухам, твой ум совершенно созрел, и ты готов к обрабатыванию важнейших политических предметов»<sup>4</sup>.

Боевая настроенность Вяземского не падала и в дальнейшем. 30 мая 1824 г. он писал Дашкову: «Моя логика не худа, даром, что Михаил Дмитриев утверждает за Александром Воейковым, что я без логики. Чем хуже, тем лучше! Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беседнее, тем скорее будет арзамасно! Это неоспоримо, как и то, что дважды два четыре! Но мы доживем ли до того или только дети наши, а если мы, то считать ли в этом мы и Василия Львовича?»<sup>5</sup>

В письме к Воейкову от 25 февраля 1824 г. он призывает литераторов к общественной активизации: «Конечно, времена не благоприятствуют большой живости, но последуем первому (то есть А. Е. Измайлову. — Ю. Л.), который и в навозе копышется. Надо напугать Красовского с братиею деятельностью и рваться пред ними, а что их, дураков, тешить и добровольно засыпать под их баюканье. Вода хлещет и подмывает с ревом и яростию плотину, преграждающую ее естественное течение, а не целует ее покорными и безгласными струями. Плотину поставили — зато и держись, плотина!»<sup>6</sup>

В первую половину 1820-х гг. Вяземский развивает большую общественную активность. Однако легко заметить, что формы, в которые облекается его деятельность, — все те же самые, которые были выдвинуты общественной жизнью 1818—1820 гг.

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 44. Письмо Пушкина в значительной степени повторяет советы М. Орлова Вяземскому в письме от 9 сентября 1821 г. и, вероятно, является отзвуком бесед о Вяземском между Пушкиным и Орловым.

<sup>2</sup> Гершензон М. О. История молодой России. М.; Пг., 1923. С. 17. Курсив мой. — Ю. Л.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 342. Курсив мой. — Ю. Л.

<sup>4</sup> Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 33.

<sup>5</sup> ОР РНБ. Архив П. А. Вяземского (№ 167). Ед. хр. 24. Л. 7 об.

<sup>6</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1234. Л. 32 об. Курсив мой. — Ю. Л.

Главные усилия Вяземского направлены на то, чтобы средствами печати воздействовать на общественное мнение, воспитывая его в духе свободолюбия. Литературные споры интересуют Вяземского и сами по себе<sup>1</sup>, и как средство провести сквозь цензуру политическую дискуссию. Вяземский сознательно преувеличивал роль своих, в общем ничтожных, противников по литературной полемике, для того чтобы через их голову бороться вообще с реакцией, подлинные представители которой он не мог назвать по цензурным соображениям. 1 сентября 1822 г. Пушкин писал Вяземскому: «Каченовский — представитель какого-то мнения! Voilà des mots qui hurlent de se trouver ensemble»<sup>2</sup>. Явно в связи с этим замечанием Вяземский писал 29 ноября 1822 г. Тургеневу: «В нашем быту должно все ставить на ходули: и раздувать негодование на Каченовского, как будто на человека вредного, и приносить как будто неприязнь свою и досаду человеку пораженному. Если не составить себе таким образом театра и не раздать по лицам приличных ролей, то придется в самом деле играть про себя роль каменного коменданта и, как он, только кивать головою, да при случае хлопать ушамн»<sup>3</sup>.

Вяземский отрицал конспиративные средства борьбы и явно преувеличивал значение легальных форм, но именно поэтому он столько внимания и энергии уделял выработке средств доведения до читателя зашифрованных мыслей. В истории создания «эзопова языка» в русской литературе Вяземскому принадлежит почетное место одного из зачинателей.

В этом смысле весьма показательна история создания «Известия о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». Получив от Ф. Глинки предложение «Вольного общества любителей российской словесности» написать биографию Дмитриева для предпринимаемого обществом издания собрания сочинений поэта<sup>4</sup>, Вяземский охотно взялся за работу, предполагая затронуть в статье острую тему — взаимоотношения государственной власти и литературы. Он рассчитывал, «придравшись» к деятельности Дмитриева-министра, коснуться и цензурно-запретных вопросов внутренней политики. В ответ на критику друзей-карамзинистов, добивавшихся под предлогом стремления к композиционной стройности удаления политических «отступлений», Вяземский писал (письмо Жуковскому от 9 января 1823 г.): «Перейдем теперь к другому обвинению твоему на счет моей биографии, о „пристройках“, о том, что слишком „часто удаляюсь от главного предмета“, „заговариваюсь“. Перекрестись и стыдись! Да что же и могло взманить меня и всякого благоразумного человека на постройку, если не возможность пристроек. Неужели рука моя повернется, чтобы чинно перебрать рифмы Дмитриева <...> Я „заговариваюсь“! Дай-то Боже! Тут только и слушать меня. Тут дело

<sup>1</sup> Эта сторона вопроса, связанная с рассмотрением позиции Вяземского 1820-х гг. в литературной борьбе, подробно освещена в указанных выше работах Л. Я. Гинзбург, Н. И. Мордовченко, М. И. Гиллельсона.

<sup>2</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 44. «Вот слова, которые рычаг, встречаясь» (фр.).

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 283—284.

<sup>4</sup> Письмо хранится в РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. кр. 635.

не в деле, а в приделках. Неужели можешь ты еще в стихах искать одних рифм, а в словах одной музыки? Не понимаю, да и не верю; или в тебе еще спит одно чувство, укачанное на руках павловских фрейлини<sup>1</sup>.

Под давлением друзей и поимания невозможности провести «пристройку» через цензуру, Вяземский охладел к замыслу и вынужден был построить статью чисто литературно. В письме к Ф. Глинке (сохранился лишь черновой набросок) он спрашивал: «Как построено быть должно „Известие о жизни гражданской и авторской Ивана Ивановича Дмитриева“? Не лучше ли заняться исключительно описанием последней, ибо в полном и искреннем описании первой, при нынешнем ограничении свободы письменной, предвижу затруднения»<sup>2</sup>.

Будучи в Москве, Вяземский активно действует не только как поэт и критик, но и как литературный организатор: он стремится объединить московских литераторов. В связи с этим интересны его попытки создать «Общество переводчиков». Идея подобной организации давно уже привлекала декабристов, ибо могла позволить провести в русскую литературу обсуждение таких вопросов, затрагивать которые в оригинальных сочинениях нечего было и думать.

Попытки организации подобного общества были предприняты еще А. С. Кайсаровым<sup>3</sup>. По показаниям Бестужева-Рюмина, «Русская правда» Пестеля включала требование: «Все знаменитые писатели, в каком бы то роде ни были, должны быть переведены на русском языке»<sup>4</sup>.

В период наибольшего увлечения общественно-легальными формами борьбы: лаикастерскими школами, литературными обществами и т. д. (что, разумеется, не исключало для него интереса к революционно-конспиративной стороне работы) — М. Орлов составил план «Общества переводчиков». Н. И. Тургенев в письме к С. И. Тургеневу от 8 мая 1820 г. писал: «Орлов прислал мне проект общества переводчиков для перевода книг полезных иностранных на русский язык. В этом проекте, как и во всем, что пишет Орлов, много умного»<sup>5</sup>. Сведения об этом проекте, видимо, тогда же дошли до Вяземского. В конце 1822 г. Вяземский вспомнил об этом и писал А. И. Тургеневу: «Есть ли еще у Николая Ивановича некий проект общества переводчиков? Нельзя ли его как-нибудь мне прислать? У меня также бродят в голове мысли и об этом»<sup>6</sup>. Вяземский собирался составить избранную

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ 27 985/СС 16 44 Л 12 об А. И. Тургеневу Вяземский писал «Я начал возиться с „Дмитриевым“ кое-что уже написано Будут *смотри* новые Но ученое общество — признает ли мои ереси? Я все хлещу и всех Хочется послать мне это несколькими анекдотами намекнуть об опале его при Павле и промолчать про последние победы его действительные, но бездейственные»

<sup>2</sup> РГАЛИ Ф 195 Оп 1 Ед хр 1052 Л 1

<sup>3</sup> См. *Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Лотман Ю. М. Карамзин СПб, 1997, Чтения в имп. обществе истории и древностей российских М., 1858 Июнь — сентябрь Кн 3

<sup>4</sup> Восстание декабристов Т 9 С 59

<sup>5</sup> Декабрист Н. И. Тургенев Письма к брату С. И. Тургеневу С 301

<sup>6</sup> Остафьевский архив Т 2 С 281

хрестоматию французской прозы, привлечь Жуковского, Дашкова, Блудова для составления аналогичных книг, переведенных с немецкого, английского, итальянского. Общество должно было иметь печатный орган — «периодическое издание критическое об иностранных книгах, выходящих в свет»<sup>1</sup>.

О том, как понимал Вяземский задачу подбора переводных текстов, лучше всего говорят его заготовки переводов из французской прозы XVIII в., о которых речь шла выше. Однако нет сомнений, что Вяземский не собирался ограничиться переводами из философов прошлого столетия — в еще большей степени его привлекала возможность популяризации сочинений современных французских публицистов.

Любопытным примером такого рода попытки является предпринятый Вяземским еще в конце 1820 г. перевод из книги Гизо «О правительстве Франции от начала реставрации до современного министерства»<sup>2</sup>.

Второе издание книги, которым пользовался Вяземский, вышло в Париже в 1820 г. Интерес к переводу возник у Вяземского, видимо, под влиянием семеновской истории. Во вступлении переводчик указал, что «суждения» Гизо «могут быть применяемы и вне Франции»<sup>3</sup>. Вяземский выбрал из книги Гизо то место, где автор говорит о закономерности свободолюбивых устремлений молодежи: «Важное бедствие лежит на показывающемся поколении. Оно наследует от предыдущих времен одни потребности и врожденные побуждения. Оно призвано не только продолжить общество, но преобразовать его». Новое поколение — поколение преобразователей. «Законы, мнения, чувства, положения самые — все было темно и сомнительно вокруг колыбели его. Оно не может жить достойным, от отцов перешедшим»<sup>4</sup>.

Все эти цитаты могли быть перетолкованы как связанные с актуальными вопросами русской жизни. Даже даты, определяющие новый этап 1815 г., не нарушали этого впечатления: «Разберите проступки, коим подверглась молодежь в течение пяти лет и за кои строжайше была она обвиняема, вы уверитесь, что они все пронстекают от волнения нравственной потребности, которая с самого детства лишена пищи, порывается насытиться и усмирилась бы удовлетворением»<sup>5</sup>.

Избранный Вяземским для перевода отрывок из книги Гизо был посвящен студенческим беспорядкам в училище правоведения. Правая печать обвиняла некоторых лекторов во вредном влиянии на умы молодежи. Это сделало перевод особенно актуальным для русского читателя после возникновения «профессорских дел» и гонений на университеты. Вяземский начал торопить друзей с попытками опубликования перевода. «А что же моего „Гизо“? Оно было бы кстати после происшествий пансионских»<sup>6</sup>. И через несколько дней:

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ 27 985/СС 16 44 Л 13 об

<sup>2</sup> Du Gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel, par Guizot, seconde édition, à Paris 1820

<sup>3</sup> РГАЛИ Ф 195 Оп 1 Ед хр 1040 Л 1

<sup>4</sup> Там же Л 1 об

<sup>5</sup> Там же

<sup>6</sup> Остафьевский архив Т 2 С 170

«Вперед, ребята обскурантизма! Ура! <...> А я все говорю. Зачем не печатаете „Гизо“? Надобно mettre à profit les à propos»<sup>1</sup>.

В переводе Вяземского были места, которые в обстановке гонений на Куницына, Германа и других профессоров иначе, как намек, прозвучать не могли.

«Найдутся люди, я знаю, которые предпочли бы, чтобы пристращались они более к скоморохам, чем к профессорам <...> Свет колеблется ныне, и мы сами колеблемся между двумя путями: один проложен вперед, к Грядущему, исполненному надежд, другой подается назад и сбивает нас в прошедшее. Без сомнения, не с тем, чтобы идти по последнему и избрать систему стоячую или обратную, молодежь любит учения, занятия и оказывается трудолюбивою и прилежною». «Внушайте молодым людям уважение к прошедшему, но не требуйте от них, чтобы они прошедшим ограднились <...> Не должно запрещать ей [молодежи] ничего полезного, основательного», «во всех случаях имеет она право на Истину, на исканне Истины»<sup>2</sup>.

Mettre à profit les à propos — таким должен был быть смысл всего проектируемого Вяземским «Общества переводчиков». Таков должен был быть, бесспорно, и лозунг его журнала. Идея получить в свои руки журнал неотступно преследует Вяземского в эти годы. Он пытается «свести» для издания журнала Кюхельбекера и Ранча и даже возобновляет связи с Воейковым. Последнему он писал 25 февраля 1824 г., очень ярко очертив свое представление о роли журнала: «...Более всего ожидаю проку от журнала Ранча, если позволят ему издавать его. Ваша петербургская проза тоща до крайности. Да и как вы все ленивы! Скажи правду, будто Греч и ты — журналисты, вы компинаторы текущих безделок. Вы не даете насущного хлеба, а кормите сухарями. Кажется, Рива<ро>ль говорит о Мирабо, что главнсе в нем достоинство было qu'il escrivaît et parlait sur des objets palpitants de l'interêt du moment»<sup>3</sup>. Вот правило, коему должен следовать журналист. А у вас никогда не дожدهшься этого трепетания. Один Измайлов иногда захватывает природу на день, да и то, когда ее пронесит с верха и низа»<sup>4</sup>.

Таким образом, нельзя сказать, что Вяземский в 1821—1824 гг. отклонился от тех свободлюбивых умонастроений, которые свойственны были ему в 1820 г., ушел от общественной борьбы.

Не порвал Вяземский и личных связей с декабристами. Наоборот, именно в это время он постоянно встречается с многими деятелями тайных обществ. В эту пору в Москве Вяземский видится с И. И. Пуциным, М. А. Фонвизиным, П. Х. Граббе, М. Ф. Орловым, К. А. Охотниковым, С. Е. Раичем и рядом других деятелей тайных обществ. Однако, если исключить М. Орлова, политическая активность которого была подавлена недавним разгромом кишиневского центра, и близкого к нему по настроениям Охотникова, боль-

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 176. «Использовать своевременность» (фр.).

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1040. Л. 1 об. — 2.

<sup>3</sup> Что он писал и говорил о предметах, животрепещущих злобой дня (фр.).

<sup>4</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1234. Л. 32.

шинство названных выше деятелей принадлежали к сторонникам тактики времен Союза Благоденствия.

Вяземский не сошел с позиций, занимаемых им в 1820—1821 гт. Но в изменившейся обстановке сама верность этим установкам, прежде характеризовавшим декабристскую периферию, означала эволюцию в сторону отдаления от дворянской революционности. «Так накануне 14 декабря 1825 года между Вяземским и деятелями декабристского движения оказался рубеж»<sup>1</sup>.

Для характеристики общественной позиции Вяземского в эти годы показательно столкновение его с М. А. Дмитриевым-Мамоновым. Это было разногласие между убежденным сторонником легальных форм воздействия на общественное мнение и политиком, приверженность которого к конспирации так и не дала ему возможности освободиться от тактики узкого заговора. Инцидент выпукло рисует отличие двух путей, которыми прогрессивная дворянская мысль преддекабристского периода подходила к революционности. И вместе с тем оба эти пути, в сложной диалектике исторического движения, в момент, когда дворянская революционность, продолжая процесс внутренней демократизации, уже сложилась, повели определенную часть декабристских и околodeкабристских деятелей в обратном направлении, от революционности — к либерализму.

С М. А. Дмитриевым-Мамоновым Вяземский познакомился в 1812 г., когда он, как писал позже в автобиографии, «вошел в московское ополчение, составленное великодушным усердием графа Дмитриева-Мамонова»<sup>2</sup>.

Первое из сохранившихся писем Мамонова к Вяземскому — просьбы о посредничестве в переговорах с князем Четвертинским, которому предлагалось место командира полка (Мамонов был шефом), — свидетельствует о том, что личное знакомство еще не состоялось<sup>3</sup>.

После оставления Москвы мамоновский полк был отведен в Ярославль. Здесь знакомство стало более тесным, как свидетельствует сохранившееся письмо Мамонова Вяземскому<sup>4</sup>. Знакомство возобновилось после возвращения Мамонова из-за границы. Это видно из его письма Вяземскому, предположительно датируемого 1817 г.: «С невыразимым сожалением узнал я, дорогой князь, что Вы хотели зайти ко мне в час, когда меня не было дома. Мое сожаление тем более живо, что, отправляясь сегодня в деревню, я покидаю Москву, не имея удовольствия Вас видеть. Я себя льщу, однако, тем, что по прибытии в Ваше поместье, расположенное вблизи от Дубровиц, вы поставите меня в известность и позволите мне возобновить знакомство, льстящее мне в бесконечном множестве отношений»<sup>5</sup>.

Как видим, в это время Мамонов и сам был не прочь возобновить старое знакомство. Однако шли годы, Вяземский был в Варшаве, а Мамонов начал

<sup>1</sup> Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 311.

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 622. Л. 20.

<sup>3</sup> Там же. Ед. хр. 1845. Л. 7—7 об.

<sup>4</sup> Там же. Ед. хр. 5082. Л. 153—153 об. Ед. хр. 1845. Л. 1—1 об.

<sup>5</sup> Там же. Ед. хр. 1845. Л. 5. Подлинник на французском.

в Дубровицах, в обстановке глубокой конспирации, строительство укрепленного военного лагеря. Лагерь этот в случае, если бы Орлову действительно удалось, как он надеялся, получить дивизию в Нижнем Новгороде или Ярославле, смог бы сыграть совсем не химерическую роль в подготовляемой военной революции. Мамонов ревниво оберегал конспиративную тайну приготовлений — доступ в Дубровицы был закрыт даже для близких знакомых<sup>1</sup>. Попытки вернувшегося в Москву из Варшавы Вяземского возобновить встречи с Мамоновым натолкнулись на решительный отпор со стороны последнего. Вяземский почувствовал — и это показательно — что пропуск в Дубровицы можно получить в Кишиневе. Орлов, повторив версию о расстроенном здоровье Мамонова, не скрыл, что это обстоятельство не воспрепятствовало принимать в Дубровицах его: «Ты мне пишешь, мой друг, чтоб я тебя сблизил с Мамоновым. Я бы весьма желал сего, но как приступить к неприступному? Расстроенное здоровье не позволяет ему выезжать. К себе никого не принимает и положил это правилом. Кроме меня, никто его не видал уже несколько лет. Впрочем, постараюсь исполнить твоё желание и для тебя, и для него. Вы, познакомясь ближе, будете любить друг друга, ибо и он почтенный человек во многих отношениях. Я давно от него писем не имел, а теперь пишу через тебя. Ты сам письмо не отвози, а пошли чрез человека и ожидай его разрешения»<sup>2</sup>.

Показательно, что хорошо осведомленный М. Орлов не считал Мамонова в 1821 г. сумасшедшим. В противном случае уверенность в том, что Вяземский и Мамонов будут «любить друг друга», звучала бы более чем странно.

Рекомендация Орлова не помогла. Перед рождеством 1821 г., находясь в Остафьеве, Вяземский переслал письмо Орлова и свое собственное Мамонову. 25 декабря 1821 г. он получил ответ:

«Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Исполненное лестных для меня выражений письмо вашего сиятельства от 23 исходящего месяца и приложенное при оном письмо от М. Ф. Орлова я имел честь получить.

Крайне расстроенное состояние здоровья моего лишает меня удовольствия пользоваться посещениями в настоящем моем уединении. Но я прошу ваше сиятельство удостоить верить, что с возвращением утраченных болезнью телесных сил моих поспешу я лично изъяснить Вам, милостивый государь, мою совершенную благодарность за благосклонное Ваше в судьбе моей участие и за хвалы, которые угодно Вам воздавать любви моей к отечеству — чувствованию, свойственному всем добрым гражданам и даже всем добрым людям»<sup>3</sup>.

В этом письме, содержащем характерно-мамоновское противопоставление «граждан» — политически активного меньшинства — просто «добрым

<sup>1</sup> Слух о том, что Орлов вломился к Мамонову силою, был, возможно, распушен из тех же конспиративных побуждений — посещение Мамонова Орловым слишком бросалось в глаза, и известие о том, что закрытые для всех двери дубровицкого дома открылись перед Орловым, могло вызвать нежелательные подозрения.

<sup>2</sup> Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 36.

<sup>3</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1845. Л. 3—3 об.

людям», рядовым членам человеческого общества, ничто не подтверждает исследовательской гипотезы о сумасшествии Мамонова, якобы имевшем место еще в 1817 г.

Новый этап взаимоотношений Вяземского и Мамонова связан с появлением последнего в 1823 г. в Москве, куда он был перевезен по распоряжению правительства, находясь в двусмысленном положении полуарестованного.

Приятельские отношения между Вяземским и Мамоновым возобновились. Вяземский отзывался о Мамонове с большим уважением, пока в марте 1824 г. не разыгрался показательный инцидент, проливший свет на глубокое различие их общественного мирозерцания.

В связи с борьбой вокруг выкупа на волю крепостного скрипача Семенова Вяземский развернул, совершенно в духе Союза Благоденствия, активную общественную работу: он принял участие в сборе средств и приступил к организации концерта, на котором должен был выступить сам Семенов. При этом Вяземский исходил из убеждения, что следует «выкупать, отнуждать, освобождать, со своей стороны»<sup>1</sup>. Здесь он совершенно сошелся с задачами организованного в Москве Пушиным «Практического союза», и трудно отделаться от мысли о том, что действия их были согласованы<sup>2</sup>.

Мамонов не только не поддержал инициативы Вяземского («зачем выкупить Семенова, когда миллионы в его положении», — заявил он<sup>3</sup>), но в специальном письме в резкой форме обосновал принципиальный отказ от участия в подобных мероприятиях.

«Каждый удар смычка на этом концерте, — писал он Вяземскому 18 марта 1824 г., — будет провозглашать свободу русских крепостных, свободу, полностью противоположную политическим принципам, которые я считаю моим долгом исповедовать в настоящее время в качестве гражданина, бывшего государственного деятеля и наследственного владельца более чем миллиона крепостных — принципам, которые я рассматриваю как наиболее верную гарантию грядущего благоденствия моей родины»<sup>4</sup>.

Письмо это, на первый взгляд, звучит неожиданно. Хорошо известно, что Мамонов был противником крепостного права и включил «упразднение рабства в России»<sup>5</sup> в план будущих государственных реформ революционного правительства.

В чем же причина резкого заявления Мамонова? Крепостное право, по его мнению, должно было быть отменено, однако он действительно был против того, чтобы отмена эта была произведена в политической ситуации 1824 г., то есть неограниченным самодержавным правительством Александр-

<sup>1</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 21.

<sup>2</sup> Вообще, благодаря сдержанности показаний И. И. Пушкина, жизнь московской организации после распада Союза Благоденствия осталась следствию неизвестна. Почти не освещена она и в исследовательской литературе.

<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 21.

<sup>4</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1845. Л. 5 об. Оригинал по-французски.

<sup>5</sup> Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства / Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906. С. 146.



ра I. Это, по его мнению, неслыханно укрепило бы правительство, ослабило бы дворянство — единственную, как считал Мамонов, силу, способную противостоять власти царя. Крестьяне должны получить волю после свержения самодержавия из рук революционного правительства. Любопытно сравнить слова Пушкина: «...остерегайтесь уничтожить рабство, особенно в государстве деспотическом»<sup>1</sup>. Если Орлов рассчитывал на помощь солдат, причем солдат, сознательно выбравших дело свободы, предварительно подвергавшихся агитационному воздействию и лично преданных своим офицерам, то Мамонов надеялся на то, что в грядущей революционной борьбе дворянство обопрется на народ в силу простой патриархальной приверженности крестьян к своим вековым владельцам. Превращенные в солдат (как это сделал Мамонов в 1812 г.), крестьяне выступают из личной преданности господину. Освобождение крестьян оборвет эти связи, обессилит дворянство и укрепит деспотизм царизма. Это объясняет, почему Мамонов мог рассматривать крепостное право «как наиболее верную *гарантию* грядущего *благоденствия* моей родины» (курсив мой. — Ю. Л.). А то, что само это благоденствие подразумевало уничтожение самодержавия в первую очередь, а затем и освобождение крестьян, явствует из изучения всех высказываний Мамонова в их совокупности.

Таким образом, в рассмотренном эпизоде столкнулись стремление осуществлять борьбу с правительством, реакцией, креностным правом только легальными средствами и попытка осуществлять эту борьбу средствами узкого заговора, требующего и от народа, и от рядовых заговорщиков лишь слепого повиновения. В исторической перспективе первая точка зрения могла привести к либерализму, вторая — к аристократическому фрондерству.

Несмотря на резкое расхождение в 1824 г. Мамонова и Вяземского, в позициях их, в сущности, было много общего: оба деятеля застыли в приверженности к какой-либо одной тактической форме преддекабристского и раннедекабристского движения. А это в 1824 г. уже означало отход от политического авангарда общества, хотя в свое время каждая из этих точек зрения выразила определенную — раннюю — стадию становления дворянской революционности.

Еще и сейчас, в 1823—1825 гг., размежевание между революционным и либеральным лагерем не зашло так далеко, чтобы позиция Вяземского показалась враждебной даже тем молодым силам, которые выдвинулись в 1823—1825 гг. на руководящие роли в Северном тайном обществе.

Рассмотрение материала убеждает в том, что тяготенне здесь было обоюдным: Вяземский тянулся к молодым радикальным общественно-литературным деятелям, а они, в свою очередь, активно привлекали Вяземского к сотрудничеству.

В этом смысле любопытны взаимоотношения Вяземского с Кюхельбекером, с одной стороны, и Рылеевым и Бестужевым — с другой.

В трудное для Кюхельбекера время после возвращения его с Кавказа Вяземский активно поддержал гонимого литератора. Необходимо учесть, что

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 195.

речь шла не только о личном участии, но и о сочувствии идеям Кюхельбекера, которые в эту пору явно определились как декабристские. 29 августа 1823 г. Вяземский писал Жуковскому: «Кюхельбекер жалуется на твое невнимание к нему и жалуется справедливо. Он несчастлив, и, следовательно, ты неправ. Брошенный от всех, искал он в тебе заступника. Заглядывал ли ты в его трагедию и есть ли надежда напечатать ее, хотя без имени его? Он жил у меня два дня в деревне и читал ее и много других стихотворений. В трагедии, право, много хорошего, а в особенности лирическая часть. В хорах, занимающих в ней важное место, встречаются даже и красоты возвышенные». Далее Вяземский подчеркивал, что «творенне это недюжинное и заслуживает одобрения». И далее: «В других мелочах его также много хорошего. Вообще, талаит его, кажется, развернулся. Он собирается издавать журнал <...> Надобно будет помочь ему, и если начнет издавать, то возьмемся поднять его журнал. План его журнала хорош и европейский, материалов у него довольно, он имеет познания»<sup>1</sup>.

Вяземский «сводил» Кюхельбекера «для журнала с Раичем»<sup>2</sup>, дал свои стихотворения в «Мнемозину». Но уже в 1824 г. обнаружилось расхождение, а после решительной критики Кюхельбекером карамзинизма и элегической традиции в русской литературе Вяземский резко с ним разошелся<sup>3</sup>.

Сложнее были взаимоотношения Вяземского с Рылеевым и Бестужевым.

В распре между издателями «Северных цветов» и «Полярной звезды» Вяземский, как и Пушкин, предпочел не примыкать безоговорочно ни к одной стороне. Личные связи с кругом Дельвига — Плетнева были у Вяземского весьма прочны, но и в творческой позиции «Полярной звезды» он находил много для себя привлекательного<sup>4</sup>.

Вместе с тем Рылеев и Бестужев активно вовлекали Вяземского в сотрудничество, не только дорожа им как литературным «вкладчиком» «Полярной звезды», но, как это показали дальнейшие события, рассчитывая вовлечь его в работу тайных обществ.

Политическое направление издателей «Полярной звезды» после личного знакомства с Бестужевым в феврале 1823 г., хотя бы в приблизительных контурах, для Вяземского не составляло тайны. Об этом свидетельствует тот факт, что для опубликования в альманахе Рылеева — Бестужева он избрал именно «Петербург» — одно из своих наиболее острых политических стихотворений, вызвавшее весьма холодную оценку в окружении Жуковского.

При датировке этого стихотворения<sup>5</sup> не всегда учитывается то, что перед опубликованием его в 1823 г. Вяземский подверг стихотворение значительной

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ. 27 985/СС. 16. 44. Л. 16.

<sup>2</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 355.

<sup>3</sup> См.: Там же. Т. 3. С. 62. Подробный анализ этого эпизода см. в кн.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX в. М., Л., 1959. С. 305—306.

<sup>4</sup> Взаимоотношениям Вяземского и издателей «Полярной звезды» посвящена вступительная статья Н. А. Степанова к публикации К. П. Богаевской писем А. Бестужева Вяземскому (Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 191—199). Это избавляет нас от необходимости детального рассмотрения вопроса.

<sup>5</sup> См.: *Вяземский П. А.* Стихотворения. Л., 1958. С. 114.

правке. Сам поэт на это указывал с достаточной определенностью. В письме Жуковскому от 29 августа 1823 г. читаем: «Между тем исправил и пополнил я свой Петербург, нелюбимый тобою и, право, напрасно! <...> Готовлю его для Бестужева. Ты что дашь ему? Прошу сперва представить мне на рассмотрение. Ты такое дитя, что, пожалуй, пустишь кубари в церкви»<sup>1</sup>. Позже он сообщал: «Посылаю тебе, мой Аристарх, „Петербург“ для доставления Бестужеву полярному. Я многое в нем исправил и прибавил <...> На днях пришлю еще материалов для Бестужева. Так и скажу ему»<sup>2</sup>.

Полностью окончательная редакция стихотворения нам не известна. Цензура не пропустила конец, и то многое, что поэт, по его собственным словам, прибавил, — не сохранилось. Из переделок следует отметить следующую: в редакции 1818 г. осуждение французской революции звучало вместе с тем как прославление действий русского правительства:

...когда

В Европе зарево злодейств зажгла вражда,  
Под сенью тишины у нас рука устройства  
Растила мирт наук и гордый лавр геройства<sup>3</sup>.

В редакции 1823 г. Вяземский убрал упоминания «тишины» и «устройства»:

...когда

В Европе зарево крамол зажгла вражда  
И древний мир вспылал, склонясь печальной выей, —  
Дух творческий парил над юною Россией<sup>4</sup>.

Возможно, здесь Вяземский учитывал ту специфически отрицательную семантику, которую приобретали в публицистике конца XVIII — начала XIX в. термины «тишина» и «устройство». Для Радищева они были синонимами деспотического гнета. Радищев писал: «Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствуют тишина и устройство». Однако далее он подвергает критике

<sup>1</sup> Архив ИРЛИ. 27 985/СС. 16. 44. Л. 16 об. Вяземский был недоволен тем, что в предшествовавший номер «Полярной звезды» Жуковский дал мелкие стихотворения, лишённые общественной значимости. 9 февраля 1823 г. он писал: «Непременно нужно взять тебя под опеку и без согласия опекунов не позволять тебе пользоваться своим родовым именем. Можно ли было напечатать в „Звезде“ столько пустяков, как ты напечатал? Как миллионщику носить в кармане медные деньги? <...> В полном собрании твоих сочинений они могли бы иметь свое место: но тут выходить напоказ в ряду с мальчишками, недорослями и состарившимися прохвостами с безделками, не имеющими никакого в глаза не дающего достоинства, ни в отношении мыслей, ни в отношении выражений, есть дело непростительное, для друзей твоих прискорбное <...> Скажу откровенно: жаль, что ты ничего путного не пишешь, но еще жальче, что ты беспутное печатаешь». И дальше: «Зачни писать прозою на время» (Там же. Л. 14 об.—15). Эти упрёки почти текстуально совпадают с критикой позиции Жуковского декабристами. Весьма характерны осуждение безделок и совет заняться прозой.

<sup>2</sup> Там же. Л. 20.

<sup>3</sup> Вяземский П. А. Избр. стихотворения. С. 139.

<sup>4</sup> Вяземский П. А. Стихотворения. С. 112.

такое представление: «Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы <...> Итак, да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих причин не почтем оное блаженным»<sup>1</sup>.

Вяземский внимательно читал Радищева в 1819 г., а вероятно, и в последующие годы, и изменение формулировок могло явиться отголоском этих чтений. Однако политическая концепция Вяземского оставалась не только далекой от радищевской идеи народной революции, но и глубоко расходилась с идейно-тактическими установками Северного общества. Вяземский так и остался на позициях легального сотрудника Союза Благочестия.

Это наглядно проявилось, лишь только А. Бестужев попытался привлечь его к непосредственно-конспиративной деятельности. Трудно согласиться с С. Н. Дурылиным, который, доверяясь явно тенденциозным данным свода показаний, составленного А. Боровковым, и либеральной исследовательской легенде, считал А. Бестужева случайным человеком среди декабристов, а весь эпизод вербовки расценил как недоразумение. «Зазывал Вяземского в тайное общество тот его член, который, по собственному признанию, принятому следствием, искал только приличной формы, чтобы оттуда уйти»<sup>2</sup>.

Рылеевская «отрасль» Северного общества, понимая общественный авторитет Вяземского, совершила вполне обдуманый шаг, пытаясь привлечь его в ряды заговорщиков. Вряд ли это действие не было согласовано с И. И. Пущиным, хотя Вяземский об этом и умалчивает.

Неудача попытки Бестужева еще раз продемонстрировала ту грань, которая отделила перед 14 декабря 1825 г. либерального свободолюбца от дворянского революционера.

\*\*\*

События на Сенатской площади, казнь и ссылка декабристов решительно изменили расстановку общественных сил. Развитие идей дворянской революционности было временно прервано, активность революционного лагеря на определенный период парализована. Вместе с тем на этом историческом этапе по-новому определились и отношения лагеря декабристов и дворянских либералов. Если одна группа деятелей, примыкавших к либеральному лагерю, пошла на капитуляцию перед правительственными силами, то определенная часть их эволюционировала в обратном направлении. Грани, отделяющие не только Вяземского, но и Дельвига, Баратынского от декабристского лагеря, размываются. Те самые «Северные цветы», которые до роковых событий 1825 г. были органом, противопоставленным «Полярной звезде», начинают восприниматься как хранители декабристской традиции. Лагерь антиправительственных деятелей разных оттенков консолидируется, — разумеется, в такой мере, в какой суровость реакционного курса правительства вообще оставляла место для политической жизни общества.

<sup>1</sup> Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 315—316.

<sup>2</sup> Кутанов Н. Декабрист без декабря. С. 231.

Новое размежевание начнется лишь в начале 1830-х гг., когда в результате начала оформления демократического лагеря в литературе и общественной жизни создастся новая обстановка.

Чуткий к живому пульсу общественных настроений, Вяземский ярче, чем кто бы то ни было из современников, отразил эти подспудные процессы. 1826 год — время расправы с декабристами — для него становится периодом резкого обострения антиправительственных настроений. В 1826—1829 гг. Вяземский сознательно берет на себя в опустевшем лагере прогрессивных литераторов миссию хранителя традиций сопротивления реакции и произволу.

Одним из наиболее волнующих памятников русской публицистики 1826 г. являются записные книжки Вяземского. Это были не записи для себя, а именно публицистические сочинения, предназначенные для распространения в обществе. Достигалось это проверенным и уже традиционным для русской бесцензурной литературы конца XVIII — начала XIX в. эпистолярным путем. Об этом свидетельствует наличие в тургеневском архиве копий всех основных высказываний Вяземского в «Записной книжке» по поводу восстания 14 декабря и трагических событий 1826 г. Копия выполнена рукой В. Ф. Вяземской<sup>1</sup>.

Поскольку мы знаем, как старательно уничтожались в 1826 г. в частных архивах все компрометирующие документы, отсутствие подобных копий в бумагах Пушкина, Жуковского и других современников не может считаться неоспоримым доказательством того, что хранящаяся в Тургеневском архиве копия была единственной. Но даже и в этом случае невозможно предположить, чтобы документ этот, побывав в руках А. И. Тургенева, не стал известен всему пушкинскому кружку, особенно плотно сомкнувшемуся после 14 декабря 1825 г.

Чрезвычайно ответственные высказывания Вяземского о восстании декабристов и суде над ними были изуродованы цензурой при опубликовании их в Полном собрании сочинений Вяземского. Вышедшее в советские годы издание «Старой записной книжки» опиралось на печатный текст Полного собрания сочинений и ничего в этом смысле не добавило<sup>2</sup>.

С. Н. Дурылин, обнаружив в библиотеке Томского университета представленный в цензуру экземпляр IX тома Полного собрания сочинений Вяземского, восстановил вырезанные по требованию цензора чрезвычайно важные высказывания Вяземского. Однако С. Н. Дурылин не знал, что IX том Полного собрания сочинений в той его части, которая касалась событий 14 декабря 1825 г., подвергся двойной цензуре. Еще до того как он попал в руки цензора, текст был изуродован реакционными редакторами. Восстановить пропущенные ими места можно, лишь обратившись к рукописи.

Сравнение позволяет выявить вырезанные еще до представления в цензуру и не учтенные С. Н. Дурылиным весьма ответственные высказывания. В записи 27 июня 1826 г. Вяземский подверг резкой критике указ о Шервуде<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых. № 849.

<sup>2</sup> Вяземский П. Старая записная книжка / Ред. и примеч. Л. Гинзбург. Л., 1929.

<sup>3</sup> Кутанов Н. Декабрист без декабря. С. 248—249.

В рукописи после слов: «Не сужу лично Шервуда, ибо не знаю его» — следует: «Но каждый благоразумный подлец поступил бы, как он, рассчитав, что, во всяком случае, он, по крайней мере, меняет неверное на верное»<sup>1</sup>. Такая характеристика правительственного агента, затесавшегося с провокационной целью в ряды революционной организации, видимо, и в 1880-е гг. была нежелательной.

Далее следовали еще более знаменательные строки. Вяземский был противником насильственных мер, и в первых откликах на восстание у него сквозит раздражение против руководителей тайного общества, действия которых он стремится отделить от незыблемых идеалов свободолюбия.

Однако по мере того как события раскрывали подлинное лицо правительства Николая I, настроения Вяземского менялись.

Казнь пяти руководителей декабризма не только потрясла Вяземского («Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо»), но и заставила его пересмотреть свои воззрения. В качестве инициатора кровопролития выступило правительство. Поняв это, Вяземский вплотную подошел к оправданию революционного насилия. Это и составило центральный стержень рассуждений, внесенных в «Старую записную книжку» и не попавших не только в Полное собрание сочинений, но и в публикацию С. Н. Дурылина.

«Кровь требует крови. Кровь, пролитая именем Закона или побужденном страсти, равно вопиет о мести, ибо человек не может иметь права на жизни ближнего»<sup>2</sup>.

Вывод этот был настолько значителен и так глубоко менял всю систему воззрений Вяземского, что у него возникла потребность обратиться к самым истокам своего политического мирозерцания. Так на страницах «Старой записной книжки» развернулся глубоко принципиальный спор с Карамзиным по вопросу о допустимости насильственных форм борьбы с деспотизмом.

Вспомнив слова Карамзина, сказанные в 1819 г. в устной беседе с Вяземским и Пушкиным: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице»<sup>3</sup>, Вяземский противопоставляет им стихотворение Карамзина «Тацит», написанное в период павловского царствования и действительно намекающее на допустимость насилия в политике.

Основываясь на заключительных стихах Карамзина:

Жалеть о нем [Риме] не должно:  
Он стоит лютых бед несчастья своего,  
Терпя, чего терпеть без подлости не можно! —

Вяземский заключает, что в определенные минуты отказ от насильственной борьбы равен подлости. Это чрезвычайно существенное место опубликовано

<sup>1</sup> ЦГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1109. Л. 5 об.

<sup>2</sup> Там же. Л. 9.

<sup>3</sup> Анализ этого высказывания произведен мной в работе «Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822)» (в кн.: Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 765—785. — *Ред.*).

С. Н. Дурылиным по книге, представленной редакторами Полного собрания сочинений в цензуру. При этом в тексте утрачено было все, непосредственно касающееся России. Приводим этот фрагмент, давая курсивом пропущенные в публикации С. Н. Дурылина слова.

«Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению *народному*. Был ли Карамзин преступен, обнародовав свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегмате, приведенной выше? Вот что делает разность мнений! Несчастный Пущин в словах письма своего (*донесение следственной комиссии 47 стран<ица>*): „Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай“, — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в *России* исполнена и что *без подлости* нельзя не воспользоваться пробившим часом»<sup>1</sup>.

Далее следует чрезвычайно важный текст, который С. Н. Дурылину полностью остался неизвестным.

«Теперь вопрос. Достигла ли Россия до степени уже песносного долготерпения и крики мятежа были ли частным выражением безумцев, или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделвшихся от общего мнения, или отголоском, *reverse* общего ропота, стенания и жалоб? Этот вопрос по совести и по убеждению разума могла разрешить бы одна Россия, а не правительство и казенный причет его, которые в таком деле должны быть слишком пристрастны. Правительство и наемная сволочь его по существу своему должны походить на Станареля, который думал, что семейство его сыто, когда он отобедает. Поставьте судиям врагов настоящего положения, не тех, которые держатся и кормятся злоупотреблениями его, которых все существование есть, так сказать, уродливый нарост, образованный и упитанный гнилью, от коей именно и хотели очистить тело государства (законными или незаконными мерами — с сей точки зрения все равно, по крайней мере условно, *conditionnellement*); нет, призовите присяжных из всех состояний общества, из всех концов Государства и спросите у них: не преступны ли те, которые посягали на перемену Вашего положения? Не враги ли они Ваши? Спросите у них по совести: не Ваше ли общее стенание, не ваш ли повсеместный ропот вооружил руки мстителей, хотя и не уполномоченных Вами на деле, но действовавших тайно в вашем смысле, тайно от вас самих, но по вашему невыраженному внушению? Ответ их один мог бы приговорить или спасти призванных к суду. Но решение ваше поспевающее Правительство спрашивает у своих сообщников: не преступны ли те, которые хотели меня ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть и моя польза, худо мною самим постигнутая? Ибо вот вся сущность суда; вольно же вам после говорить: „Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено“ (Манифест 13-го июня). В этом слове замечательное двоемыслие. И, конечно, дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом

участвовала, делом или помышлением, волею или неволею, в заговоре, который был ничто иное, как вспышка общего неудовольствия. Так огонь тлеет безмолвно, за недостатком горючих веществ; здесь искры упали на порох, и они разразились. Но огонь был все тот же! Но вы не то хотите сказать, и ваша фраза есть ошибка и против логики языка, и против логики совести. Дело, задевающее за живое Россию, должно быть и поручено рассмотрению и суду России; но в Совете и в Сенате нет России, нет ее и в Ланжероне и Комаровском! А если и есть и она, то это Россия-самозванец, и трудно убедить в истине, что сохранение этой России стоит крови несколько (так!) русских и бедствий многих. Ниспровержение этой мнимой России и было целью голов истерпевливых, молодых и пламенных; исправительное преобразование ее есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительство забывает, что народы, рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству *молитв вооруженных*<sup>1</sup>.

И несколько ниже: «О подлые тигры! И вас-то называют всюю Россиею, и в Ваших кровожадных когтях хранится урна с ее жребием»<sup>2</sup>.

На л. 12 об. и 18 находим еще два не вошедших в научный оборот высказывания: «Помысливших о перемене в нашем политическом быту роковую волною прибывало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало; а доказательство тому — цареубийство не было совершено. Все оставалось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного цареубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно так же, как не вижу героя в каждом вонне на поле сражения. Может быть, он еще струсит и убежит от огня. Вы не даёте георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно. *Убийственную болтовню* (bavardage atroce, как назвал я, прочитавши все сказанное о них в докладе комиссии) ставите вы на одних весах с убийством, уже совершенным».

И далее: «Назначение В<еликого> К<нязя> Председателем След<ственного> Ком<итета> было бы большою политическою несообразностью, если существовало бы у нас политическое соображение, политическое приличие. Дело это не могло подлежать ведомству его суда, ибо он был по званию своему, по родству — пристрастное лицо. Движение 14 декабря было устремлено столько же против него, сколько и против брата. В<еликий> К<нязь> — все же человек: мог ли он отречься от всякой личности в деле, столь для него личном и надписанном прямо на лице его и на их лицах? Императору можно было в этом случае применить стихи Василия Львовича о Сергее Львовиче:

Душами сходствуем он точно я другой

Одно могло бы оправдать это назначение: намерение утешить это дело и кончить всепрощением, за исключением некоторых лиц. Тогда бы ответ-

<sup>1</sup> РГАЛИ Ф 195 Оп 1 Ед хр 1109 Л 10 об — 11.

<sup>2</sup> Там же Л 12



ственность милосердия падала на брата, как на сокровенного исполнителя царских мыслей. Какая нужда В<еликому> К<нязю> добровольно идти в заговорщики палача, когда и без него найдется их довольно. Политический рассудок предписывал оставаться в стороне, умывая руки свои, чистые от участия.

Деятельное участие его в последнем деле Раевского еще более неловко, говорю уже в смысле политическом, ибо смыслу нравственному или просто человеческому (пропуск в рукописи. — Ю. Л.) как не найдется приближенного человека, который решился бы сказать истину этим молокососным кровопийцам? (смотри указ о двух братьях Раевских, Таушеве)».

Таким образом, Вяземский летом 1826 г. считал, что у власти находятся «молокососные кровопийцы» и «подлые тигры», «мнимая Россия», «Россия-самозванец», ниспровержение которой — цель настоящей России. И если он еще отделял «головы итерпеливые, молодые и пламенные» от «добрых и рассудительных граждан», то твердо держался мнения, что когда путь мирного давления на правительство будет исчерпан, останется лишь прибегнуть «к посредству молитв вооруженных». С. Н. Дурылин был глубоко прав, считая, что в этот период Вяземский вплотную подошел к принятию декабристской программы.

В своей работе С. Н. Дурылин привел ряд высказываний Вяземского в письмах 1826—1827 гг. в защиту декабристов. К этому необходимо добавить лишь одно. Как ни готово было прорваться в душе Вяземского возмущение по поводу расправы с декабристами, многочисленные высказывания его в письмах тех лет имели цель более конкретную, чем выражение накипевшего в душе чувства. Вяземский сознательно стремился сплотить уцелевших друзей и создать общественное мнение, на которое можно было бы опереться в борьбе за судьбы преследуемых декабристов. В этом, бесспорно, состояла цель многочисленных и чрезвычайно смелых для того времени писем и не менее многочисленных и еще более смелых разговоров.

М. Орлов писал Вяземскому 20 июня 1826 г.: «Любезный друг, знаю всю твою дружбу и умею ее ценить. И брат в Петербурге, и жена в Москве доказывают на тебя, как ты благородно чувствуешь, как ты берешь участие в друзьях твоих, как ты стоишь грудью за них и как ты не отходишь в несчастин от тех, которых в счастлих любил»<sup>1</sup>. А Карамзин в письмах умолял: «Только ради Бога и дружбы не вступайтесь в разговорах за несчастных преступников <...> Еще повторяю от глубины души: не радуйте изветников, ни самую безвиннейшую нескромностью! У вас жена и дети, ближние, друзья, ум, талант, состояние, хорошее имя: есть что беречь. Ответа не требую. Уведомьте только о здоровье детей милых и своем»<sup>2</sup>.

Но Вяземский не собирался беречь себя. Ему, действительно, удалось на какой-то период встать в центре оппозиции правительству, вовлечь в свою работу и людей, сравнительно далеко от него стоящих. Так, Павел Муханов,

<sup>1</sup> Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 38.

<sup>2</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 171.

брат декабриста, писал Вяземскому в 1826 г.: «В „Отечественных записках“ вы, вероятно, с омерзением прочтете подлую статью подлого Демидова — он теперь вздумал разбирать книгу Тургенева и к этому примешал и других. Книга, которая уже несколько лет издана, и время ли теперь нападать на человека, который находится под карою закона! А на других несправедливый донос писать. Это и унизительно, и подло»<sup>1</sup>.

1826—1827 гг., несмотря на общую подавленность и испуг, атмосферу террора, не были временем всеобщего безмолвия. Силы декабристской периферии сумели создать лагерь, наследовавший декабристскую традицию. В центре его встали Пушкин и Вяземский.

Особенно ответственной была борьба за проведение сочувственных декабристам высказываний — а также их анонимно печатаемых произведений — в печать. Даже самый незначительный успех в этом деле был уже победой. Приведем в качестве примера одно из выступлений Пушкина, действовавшего в данном случае в союзе с А. И. Тургеневым.

Трудный для Пушкина 1826 год хорошо изучен в литературе, посвященной творчеству поэта<sup>2</sup>. Внимание исследователей издавна привлекали как прямые, так и косвенные отклики Пушкина на трагические события этого времени. Размышления о судьбе декабристов — человеческой и исторической — составляют своеобразный подтекст всей деятельности Пушкина в 1826 г. и бросают отсвет на высказывания и действия его, на первый взгляд, не связанные с политической жизнью. Это заставляет нас особенно внимательно относиться к самым, казалось бы, незначительным обстоятельствам творческой биографии Пушкина этой поры.

В январе 1827 г. вышел в свет и в двадцатых числах поступил в продажу альманах Б. Федорова «Памятник отечественных муз на 1827 год», в котором был опубликован цикл стихотворений Пушкина. В предисловии издатель, видимо по требованию поэта, оговаривал юношеский характер этих произведений: «Уважающим скромность, украшающую блистательный гений, приятно будет узнать, что Александр Сергеевич Пушкин, позволив издателю поместить в сем Альмаиахе некоторые из первых произведений своей музы, не доверяя достоинству их, желал, чтоб издатель означил время сочинения их. Но в сих произведениях юного Поэта виден зрелый дар гения — и тем они драгоценнее для Памятника Отечественных Муз»<sup>3</sup>.

В научной литературе утвердилось мнение, что приведенная ссылка на Пушкина является фальсификацией и стихотворения попали в альманах Б. Федорова помно воли автора. Б. В. Томашевский, в 1936 г. комментируя эпиграмму «Русскому Геснеру», писал: «Стихотворение направлено против Борнса Федорова <...> В 1827 г. он навлек на себя неудовольствие Пушкина тем, что напечатал в своем альманахе „Памятник Отечественных Муз“ ли-

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2366. Л. 6 об.—7.

<sup>2</sup> См.: *Благой Д. Д.* Пушкин в 1826 году // А. С. Пушкин, 1799—1949: Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951.

<sup>3</sup> *Федоров Б.* От издателя // *Памятник отечественных муз*, изданный на 1827 год Борнсом Федоровым. СПб., 1827. С. 3.

дейские стихи Пушкина без его ведома и согласия»<sup>1</sup>. Правда, несколько ранее тот же исследователь высказался более ограничительно: «В 1826 г. <...> Ф<едоров> предпринял издание литературного альманаха „Памятник Оте-чественных Муз“. Для этого альманаха он получил каким-то образом от П<ушкина> разрешение напечатать несколько его ранних стихотворений, с условием поставить даты. Сверх предоставленных ему стихов Ф<едоров> напечатал еще отрывки из стихотворения „Фавн и Пастушка“, чем вызвал негодование П<ушкина>. По его поручению Сомов в „Северных Цветах на 1829 год“ напечатал, что от этого стихотворения П<ушкин> „ныне сам отказывается“»<sup>2</sup>.

Пушкин действительно в 1829—1830 гг. энергично отвергал свою причастность не только к напечатанию, но и к созданию этого стихотворения. Явно расходясь с фактами, он стремился доказать, что стихотворение ему приписано. Он писал: «...г-н Фед<оров> напечатал под моим именем однажды какую-то <?> идиллическую нелепость, сочиненную, вероятно, камердинером г-на П<ан>аева». И в другом месте: «В альм<анахе>, изданием г-ном Федоровым, между найденными бог знает где стихами моими, напечатана Идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на П<ана>ева»<sup>3</sup>.

Причины этого, конечно, следует искать не в мнимом художественном несовершенстве стихотворения «Фавн и Пастушка», ничем не уступающего в этом смысле другим произведениям лицейской поры. Дело было в ином: летом 1828 г. началось весьма опасное для Пушкина дело о «Гавриилиаде». Не только атеизм поэмы, но и ее «безнравственность», с точки зрения правительственных инстанций, делали ее «опасным» сочинением. Вспомним судьбу Полежаева и его поэмы «Сашка» — факты, бесспорно, известные Пушкину<sup>4</sup>. В этом смысле понятно, почему Пушкин старался отречься от фривольной юношеской идиллии. Следовательно, высказывания Пушкина о путях проникновения его стихов в альманах Б. Федорова относятся к более позднему времени и определены тактикой самозащиты в 1828—1830 гг. Как свидетельство в пользу того, что Пушкин в 1826 г. протестовал против публикаций Б. Федорова, их использовать нельзя.

Как же попали стихотворения Пушкина к Б. Федорову? Составитель «Памятника отечественных муз» был канцелярским служащим при Александре Тургеневе. От последнего он получил для своего альманаха ряд ценных литературных материалов, в частности отрывки из писем Карамзина к А. И. Тургеневу, письмо к К. Н. Батюшкову и письма А. А. Петрова к

<sup>1</sup> Пушкин А. Соч. / Ред., биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Л., 1936. С. 881.

<sup>2</sup> Путеводитель по Пушкину // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. / Приложение к журналу «Красная Нива» на 1931 год. М.; Л., 1931. С. 358.

<sup>3</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 82, 157.

<sup>4</sup> Напомним, что по личному распоряжению Николая I из «Графа Нулина» были выброшены стихи: «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла», а из «Сцены из Фауста» — упоминание о «модной болезни» (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 336).

Карамзину, подлинники которых и по сей день хранятся в Тургеневском архиве.

Об этой щедрой поддержке альманаха Б. Федорова с обидой писал Пушкину Дельвиг: «Не осрамите моих седин перед Федоровым. За канцелярские услуги А. И. Тургенев наградил его статьями Карамзина и Батюшкова! Каково это! Уродливый боец выступит в состязание с заслуженным атлетом и победит его»<sup>1</sup>.

Стихи Пушкина Б. Федоров, видимо, получил через А. Тургенева — это дало Пушкину впоследствии возможность отречься от участия в их публикации, — но в 1826—1827 гг. никаких следов трений между Пушкиным и Б. Федоровым на этой почве обнаружить не удается. Более того, Пушкин, хотя и относится к Б. Федорову с презрительной снисходительностью, но знакомится и встречается с ним<sup>2</sup>. В дневнике приятеля Б. Федорова и цензора его альманаха К. С. Сербиновича упоминается намерение Б. М. Федорова устроить обед в честь Пушкина, а 18 июня 1827 г. ««вечером у Карамзинных» за чаем Пушкин. Б. М. <Федоров> благодарит за стихи»<sup>3</sup>. Наконец, мы располагаем некоторыми свидетельствами, которые можно рассматривать как прямые авторские высказывания по этому вопросу: в № 5 «Московского вестника» за 1827 г. за подписью И. К. помещен разбор альманаха Б. Федорова. Как сообщал М. П. Погодин В. Ф. Одоевскому, разбор этот был в рукописи просмотрен Пушкиным, который в ультимативном тоне потребовал его переделки. «Разбор ваш „Памятника Муз“ сокращен по настоятельному требованию Пушкина», — писал Погодин<sup>4</sup>. Из обзора, по требованию Пушкина, были удалены резкие оценки творчества Державина и Карамзина. Ясно, что если бы поэт в то время желал обвинить Б. Федорова в самовольном использовании его стихотворений, он имел для этого прекрасную возможность. Пушкин этого не сделал. В письме Бенкендорфу от 29 ноября 1826 г. Пушкин писал, что «роздал несколько мелких <...> сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей»<sup>5</sup>. Наконец, само требование Пушкина выставить даты при стихотворениях (видимо, не выдуманное Б. Федоровым, ибо при произведениях в альманахе действительно проставлены годы, сообщить которые, как это естественно предположить, мог, скорее всего, автор) свидетельствует о какой-то степени сотрудничества поэта с составителем альманаха.

Итак, Пушкин, видимо, принимал участие в публикации своих стихотворений в «Памятниках Отечественных Муз». Установление этого факта выдвигает второй вопрос: с какой целью Пушкин предпринял этот шаг, пре-

<sup>1</sup> Пушкин А. С., Полн. собр. соч. Т. 13. С. 295.

<sup>2</sup> См.: Майков В. В. Из дневника Б. М. Федорова // Русский библиофил. 1911. № 5. С. 33—34.

<sup>3</sup> Нечаева В. Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича // Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 256.

<sup>4</sup> Русская старина. 1904. № 3. С. 705. Автором статьи был И. Киреевский, но к составлению ее, как это видно из письма Погодина, был причастен и В. Ф. Одоевский.

<sup>5</sup> Пушкин А. С., Полн. собр. соч. Т. 13. С. 308. Курсив мой. — Ю. Л.

следовал ли он какие-либо собственные цели, кроме помощи рядовому «альманашнику», покровительствуемому А. И. Тургеневым (следует отметить, что у Пушкина в эту пору уже сложилось определенное и весьма неблагоприятное мнение о Борисе Федорове, см. письмо П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 г.)? Подобные соображения, конечно, также надо учитывать: это объясняет и то, почему Пушкин дал для публикации явно устаревшие свои произведения, и то, что он подчеркнул их архаичность, выставив даты. Последнее — поскольку речь шла о старых стихах — могло служить также извинением того, что тексты не были представлены Бенкендорфу.

Однако необходимо учитывать и другое: цензурное разрешение альманаха помечено датой: 21 декабря 1826 г. Фактически же альманах собирался раньше. Дельвиг знал о нем уже в середине сентября 1826 г.: на эту тему он писал в том же (цитированном выше) письме Пушкину, в котором поздравлял его «с переменной судьбы»<sup>1</sup>. Таким образом, участие в альманахе Б. Федорова было одним из первых выступлений Пушкина в печати после возвращения из ссылки и беседы его с царем. Все это повышает общественную значимость интересующей нас публикации и заставляет присмотреться к ней пристальнее.

На с. 35—37 поэтического отдела альманаха (отделы прозы и поэзии не имели общей пагинации) были напечатаны два стихотворения: «Романс» («Под вечер осени ненастной...») и «Желание» («Медлительно влекутся дни мои...»). Стихотворения эти не имели даты, но снабжены были примечанием редактора: «Помещенные здесь стихи Александра Сергеевича Пушкина были из первых опытов его очаровательной музы»<sup>2</sup>. Далее шли: «Отрывки из стихотворения „Фави и Пастушка“ с пометой «1818»; «Заздравный кубок» с пометой «1816» и «К Живописцу» с пометой «1815»<sup>3</sup>.

Особняком стоит последнее пушкинское стихотворение в альманахе: оно единственное не принадлежит ни к ранним, ни к незначительным произведениям и лишено — что само по себе примечательно — какой бы то ни было хронологической пометы: это «Сон (Отрывок из Новгородской повести „Вадим“»)<sup>4</sup>.

Можно ли предположить, чтобы такой человек, как А. И. Тургенев, безответственно, без ведома автора, распоряжался столь политически многозначительным текстом в напряженное время конца 1826 г.?

То, что для самого Пушкина публикация отрывка из поэмы, писавшейся в Кишиневе под беспорным влиянием В. Ф. Раевского и насквозь пронзанной политическими настроениями тех лет, не была равнозначна напеча-

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 295.

<sup>2</sup> Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год. Раздел «Стихотворения». С. 37.

<sup>3</sup> Там же. С. 172—180, 183—187, 231—232.

<sup>4</sup> О поэме «Вадим» см.: Томашевский Б. В. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина // Пушкин, исследования и материалы. Труды III Всесоюзной пушкинской конференции. М.; Л., 1953. На с. 176 этой работы, между прочим, читаем: «Из поэмы Пушкин напечатал лишь небольшой кусок. Другой кусок был опубликован при жизни поэта Б. Федоровым, получившим его, вероятно, от А. И. Тургенева („Памятник отечественных муз на 1827 год“»).

танию безделок лицейской поры, не вызывает никакого сомнения. Такой шаг поэт не мог предпринять ради того, чтобы отвязаться от назойливого «альманашника» или его покровителей. Но и читатель, еще хорошо помнивший декабристскую поэзию, не мог не насторожиться, читая заглавие: «Новгородская повесть „Вадим“».

Еще более знаменательно содержание отрывка, избранного Пушкиным для публикации. Весь текст пронизан трагизмом. Герой возвращается в родные края и не находит там своих, уже погибших, друзей:

...Другие грезы и мечты  
Волнуют сердце Славянина:  
Пред ним Славянская дружина,  
Он узнает ее щиты;  
Он снова простирает руки  
К товарищам минувших лет,  
Забутым в долги дни разлуки,  
Которых уж и в мире нет<sup>1</sup>.

Острота ситуации, напоминающей трагическое возвращение Пушкина из ссылки в Москву, могла быть определяющей при выборе поэтом этого отрывка. Необходимо отметить и другое: неудача восстания 14 декабря 1825 г. отразилась на трактовке темы Новгорода в поэзии декабристской тюрьмы и каторги. Как это особенно хорошо видно на поэзии А. И. Одоевского, Новгород теперь берется не в момент расцвета, как свидетельство республиканских традиций в русской истории, а в момент поражения. Новгородская тема делается темой утраченной свободы. (Ср. стихотворения А. И. Одоевского «Старица-пророчица», «Зоснма», «Новгородская святопись», «Неведомая странница» и др.) Тот же образ опустевшего, разрушенного Новгорода как символа разгромленной свободы находил читатель и в отрывке Пушкина:

Он видит Новгород великий,  
Знакомый терем с давних пор;  
Но тын оброс крапивой дикой,  
Обвиты окна повиликой, —  
В траве заглох широкий двор.  
Он быстро храмин опустелых  
Проходит молчаливый ряд:  
Все мертво... нет гостей веселых,  
Застольны чаши не гремят<sup>2</sup>.

Произведение, задуманное в обстановке кишиневских встреч, переосмыслилось в зловещей атмосфере 1826 г. Показательно, что, перепечатывая всего через несколько месяцев, осенью 1827 г., в «Московском вестнике» (1827, № 17) этот текст, Пушкин вынужден был и убрать многозначительное заглавие, заменив его нейтральным: «Отрывок из неоконченной поэмы», и подчеркнуть неизбежность текста пометой «писано в 1822 году», и — что самое основное — *убрать 25 строк, описывающих разрушение Новгорода.*

<sup>1</sup> Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год. С. 254—255.

<sup>2</sup> Там же. С. 255.

Вместе с прибавлением нейтрально звучащих стихов, связанных с сюжетной экспозицией кишиневской поэмы, это лишило отрывок той политической многозначительности, которую он имел в первой публикации.

Факт этот делается особенно примечательным, если учесть, что обнаруженный уже после выхода в свет четвертого тома академического Полного собрания сочинений полный рукописный текст первой песни поэмы включает в себя стихи, выпущенные в «Московском вестнике» и последующем издании «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1829. Ч. 1).

Изложенные соображения, как кажется, позволяют сделать вывод, что отрывок из поэмы «Вадим» в том виде, в каком он был опубликован Пушкиным в альманахе Б. Федорова, должен быть учтен при изучении откликов Пушкина на разгром декабрьского восстания. Печатный характер этого отклика еще более повышает его интерес и общественную значимость.

Предпринимал в этой области попытку и Вяземский. Не случайно именно к нему обратились декабристы, пытаясь организовать выпуск альманаха «Зарницы». Содержание альманаха должны были составлять стихи, созданные на каторге.

Особенно привлекала внимание правительства деятельность Вяземского как вдохновителя «Московского телеграфа». Именно эта сторона его деятельности обычно связывалась анонимными доносчиками со стремлением продолжить декабристскую традицию.

Правительство могло расправиться с Вяземским административными средствами, например выслал его в деревню с запрещением въезда в столицы. Данных для такой меры было достаточно. Однако у правительства Николая I были иные виды. Правительство, разгромив революционное движение, заткнув рот общественному мнению, терроризируя литературу, вместе с тем совсем не было заинтересовано в дальнейших шумных репрессиях. Необходимо было создать впечатление, что против самодержавия в России выступила лишь небольшая кучка, оторванная от общества и народа. Преследуя на деле малейшие проявления свободомыслия, Николай I стремился создать видимость консолидации литераторов вокруг правительства. Рядом с средствами запугивания были пущены в ход средства развращения. С этой целью была разыграна фальшивая комедия «прощения» Пушкина, ради этого осуществлялась целая продуманная система угроз, подкупов и обещаний.

В этом смысле особенный интерес представляет санкционированное царем письмо Бенкендорфа Вяземскому, прямо требующее от него определить свое отношение к декабризму.

Документ этот имеет первостепенный интерес, поскольку в нем с необычайной полнотой выразилась тактика правительства Николая I по отношению к литературе в первые последекабрьские годы. Из опубликованного М. И. Гиллельсоном текста письма<sup>1</sup> недвусмысленно следует, что в глазах правительства в 1827 г. Вяземский был прямым наследником декабристской

<sup>1</sup> Гиллельсон М. И. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3.

традиции. Вместе с тем показательно, что именно Вяземскому — как и Пушкину — правительство решило в первую очередь показать клыки своей политики в вопросах литературы. В этом смысле письмо Бенкендорфа к Вяземскому — своеобразная веха в истории русской литературы начала XIX в. Цензурные гонения, запрещения произведений и преследования писателей не были изобретением Николая I — они сопутствовали истории русской литературы и на более ранних этапах ее развития. Однако, стремясь очертить вокруг литературы узкий круг дозволенного, ограничивая то, о чем *нельзя* говорить, предшествующие правительства все же не решались прямо предписывать писателю, что и как ему *следует* изображать в своих произведениях. Писатель, не нарушающий распоряжений правительства, находился вне сферы его воздействия. Бенкендорф в письме к Вяземскому прямо декларирует другой принцип: для того, чтобы пользоваться репутацией политически благонадежного человека, литератору недостаточно не бороться с правительством — от него требуют *служить* властям: «...Для того, чтобы иметь вполне чистую совесть, недостаточно не иметь дурных намерений: неблагоразумие — тоже преступление»<sup>1</sup>. Никогда еще до этих пор в России лицо, ведающее политическим сыском, не пыталось прямо водить рукой писателя. Вяземскому безоговорочно указывалось, кого можно и кого нельзя хвалить в критических статьях. Так, по мнению Бенкендорфа, творчество Вальтера Скотта и Карамзина заслуживает одобрения, а Байрона и Руссо следует порицать. Особенно следует воздерживаться от резких суждений, «духа озлобления и очернительства (*dénigrement*)»<sup>2</sup>.

Примечательно и другое: правительство Александра I также пользовалось услугами доносчиков, но никогда не решалось возводить тайный извет в сан гражданской добродетели, открыто мотивировать шаги правительства донесениями тайных агентов. Награждение Шервуда вызвало в «Записных книжках» Вяземского целую бурю негодования. Между тем Бенкендорф в своем письме к Вяземскому не скрывает своей солидарности с тайным доносчиком. Он прямо ссылается: «Было замечено, и мы имеем сигналы» (*op a ageriqué et signalé*). Это, конечно, не случайная обмолвка, а результат сознательного стремления легализовать донос и возвести его в норму литературных и общественных отношений. Позже Пушкин писал: «...Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться»<sup>3</sup>.

Фарисейское сочетание открытых угроз, неуклюжей лести и недвусмысленного приглашения в правительственные агенты не возымело ожидаемого действия. Молчаливый ответ Вяземского был отрицательным.

<sup>1</sup> Гилдельсон М. И. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе». С. 419. Мы даем несколько иной перевод, чем в публикации М. И. Гилдельсона. Ссылки поэтому даются непосредственно на французский текст.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 329.



В борьбе за сохранение декабристской традиции в литературе Вяземский и Пушкин выступали в 1825—1830 гг. в тесном союзе. Однако в их позиции было и различие: Пушкин, как и Грибоедов, стремился не только сохранить верность памяти друзей, но и *понять слабые стороны дворянской революционности*. Декабризм был внутренне противоречивым и эволюционирующим явлением. Поэтому стремление *пойти дальше* революционеров начала 1820-х гг. и было подлинным сохранением их традиции. Стремление же Вяземского *только хранить* заветы юности уже обозначало движение назад. Позиция Вяземского в хронологических пределах 1825—1830 гг. внешне выглядела как более бескомпромиссная и в ряде вопросов как более «левая» (например, в отношении к польскому восстанию 1830 г.), чем пушкинская.

И вместе с тем именно эта боязнь новых путей заставляла Вяземского фактически выделять в декабризме его самую слабую, совпадающую с либерализмом сторону.

Позиция Вяземского была лично благородна, но исторически бесперспективна. Его сломила *не* реакция, он устоял перед искушениями и твердо перенес угрозы, — но он не смог перенести демократизации литературы и общественной жизни. Выход на общественную арену представителей парода отбросил его сначала в ряды умеренных консерваторов, а затем толкнул в объятия правительства.